

* Б И Б Л И О Т Е К А С Е М Е Й Н О Г О Р О М А Н А *

Владимир Данчук



В садах
Эдема

Библиотека семейного романа

Владимир Данчук

В садах Эдема

МОФ «Родное пепелище»

2010

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

Данчук В. И.

В садах Эдема / В. И. Данчук — МОФ «Родное пепелище»,
2010 — (Библиотека семейного романа)

ISBN 978-5-98948-027-2

Владимир Иванович Данчук известен православному читателю по книгам «Священная история Нового завета», «Жития святых» (избранные), «Книга живота». «В садах Эдема» – книга о семье, о детях, построена в форме дневника, светом детской невинности проникнуты все, от первой до последней, страницы. Однажды Ф. М. Достоевский заметил, что «рядом с детьми душа лечится». А Господь наш Иисус Христос сказал о детях, что «таковых есть Царствие Небесное». Отсюда – идея и название книги. Книга предназначена для широкого круга читателей.

УДК 821.161.1

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 978-5-98948-027-2

© Данчук В. И., 2010

© МОФ «Родное пепелище», 2010

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	8
Часть вторая	89
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Владимир Данчук

В садах Эдема

«И насадил Господь Бог рай в Едеме...»
(Быт. 2, 8)

По благословению архиепископа Самарского и Сызранского
СЕРГИЯ

© В. И. Данчук

Предисловие (От издателя)

Дорогой читатель!..

Так, по-старинному, хочется обратиться к тебе в преддверии открытой тобой книги. Обратиться на «ты», потому что ты не просто любопытным и посторонним человеком вошёл в незнакомый тебе дом, а «очутился вдруг», в качестве давнего знакомца, в тесном и шумном кругу... ну, скажем, не совсем обычного семейства, нисколько не смутив текущей там жизни. Здесь ты можешь не только прислушаться к детскому лепету малышей, полюбоваться их играми и забавами, но и поучаствовать в озабоченных диалогах родителей, заглянуть в их письма друзьям, откровенно рассказывающих о стремлениях и тревогах незаметно растущей семьи. Тебе, как почти родному человеку, не запрещено заглянуть даже в семейную спальню, где возле усталой «маминьки» копошатся, укладываясь, дети. Ты садишься где-нибудь в уголке или можешь примоститься на развороченном диване – и, не замечая тебя, дети продолжают игру, а взрослые занимаются своими делами. Ты можешь походить по комнате, переступая через рассыпанные игрушки, заглянуть через плечо склонившегося над своими записками «отесиньки», послушать лепет Лизаньки, сочинившей очередную историю про сказочную «девочку Сену». Не торопись уходить, любезный читатель, задержись, дорогой гость, засидись заполночь! Можешь даже вздремнуть, чтобы услышать детские голоса «сквозь сон», чтобы взглянуть на все эти неважные события как бы «внезапно проснувшись»...

В русской литературе понятие жанра постоянно расплывается: «роман-эпопея», «роман в стихах», «поэма» в прозе («Мёртвые души») – это хрестоматийные примеры. Но вот ещё оттенки отступлений: «журнал Печорина», «повести Белкина»... Умаление вымысла и возвышение действительности, воплощение слова и одушевление бытования необходимы для достоверности переживания. Жанровые границы при этом становятся субъективными, очень частными. Сцена перестаёт быть сценой, а игра – игрой, при некоторой тональности слова, переступающего условные границы жанра. Повести написаны не литератором Пушкиным, а просто частным лицом, рассказывающим поразившие его происшествия.

Это стремление уйти от жанра, оставаясь в его границах, нужно для того, чтобы разрушить стереотип читательского восприятия художественного текста. Художник, разрушающий жанр, и указывает своему читателю на свою задачу, вернее, сверхзадачу, которая должна, как закваска, замесить тесто художественного произведения. История Самсона Вырина занимательно рассказывается не для развлечения и даже не для «морали», а для чего-то другого. Для чего же? На этот вопрос, мне кажется, через несколько десятилетий ответил другой писатель, сказав, что цель художественного произведения – «унежить душу читателя».

И вот перед тобой, читатель, «просто книга», начинающаяся с детского лепета. И хотя этот лепет записан взрослым автором, но автором, умалившимся до лепета, не скучающего им, а любующимся каким-то бесконечным восхищением. Текст не ограничен классическими рамками какого-либо жанра, но всё же берега у него есть. Это перекликающиеся темы детства и культуры, но не в том смысле, в каком они воспринимаются современным слухом. Детское словотворчество и русская словесность оказываются в пространстве райского сада, или, точнее, они предстают автору (и, надеюсь, предстанут читателю) уголками райского сада, в котором Божие творение открывало Адаму свои сокровенные имена. Именование мира и раскрывающийся в своих глубинах мир русской классики оказываются явлениями одного порядка.

Что же роднит беспомощность младенческого лепета с магией художественного слова? Исток речи – с её полноводным течением? Можно ответить – её таинственное устье, тайна творческого слова. Это охранительная и питающая среда, источник природных и жизнетвор-

ческих сил, необходимых человеку на его пути. Как ни странно, но напоминание об этом оказывается актуальным в наше время – время «похуленного рождения» (Розанов) и стирания границ культуры, умаления её до социального феномена, который можно «развивать», «наградить» и «финансировать». Художественное слово, творящее и творимое в «проницающих лучах Откровения» – в этом направлении сосредоточено внимание автора, с любованием оглядывающего горизонты родной словесности.

Если обратить внимание на хронологию «событий» книги, не напрасно столь настойчиво предлагаемую автором – а это 80-е годы XX века – то мы увидим, что это время внешней несвободы для верующих в России. Но на страницах книги почти не чувствуется бремени этой несвободы, лишь в сценах посещения школы возникают приметы «лукавого» времени и тенью проходят образы «нового советского человека». Сама же книга полнится совсем иным, тем, что составляло внутреннюю жизнь человека во всю новую его историю – от Рождества Христова. «Личность стала центром во всей истории» (Розанов), и «после религии, после отношения к Богу... второю святынею становится семейный круг».

Розанов пишет: «Классическое „с ним или на нём“, которое обратила спартанка к рождённому от неё воину, не имеет никакого смысла <в новой истории – изд.>... и, напротив, получили смысл уединённые молитвы, которые неустанно шлются за сына, где бы он ни был, что бы ни сделал, как бы ни был осуждаем всеми и даже действительно дурен. Всё переменяло характер от этого перемещения интересов человека... Всё ушло куда-то внутрь, за стены родного дома, к скрытому очагу, где человек живёт не наблюдаемый более никем, и откуда он выходит с лицом, осенённым светом, который никогда не согревал античного мира. Оттуда, из этой скрытой от всех, уединённой жизни выходит новая поэзия и новая философия, которая так много сказала человеческому сердцу и так многому научила человеческий ум».

Этот согревающий свет, о котором пишет Розанов, свет, наполняющий мир теплотою, исходит от первой заповеди, данной Богом человеку в раю и которую Христос вернул в историю – от заповеди «семейственности бытия»: «плодитесь и множьтесь, и наполняйте землю». Эта заповедь возводит человека в особую меру полноты бытия, удлиняющую и умудряющую взгляд его на все стороны человеческого жизнетворчества.

Один юный, но внимательный читатель этой книги так отозвался о ней: «Сейчас у веры и общества иные отношения, чем были во времена наших родителей. Может, это и хорошо в чем-то, даже во многом. Но для сегодняшней веры не всегда находится место для подвига. Конечно, и сегодня верующий чего-то лишается, в чем-то ущемляется, однако если со стороны, „с высоты птичьего полета“ посмотреть на жизнь людей верующих и неверующих, то различие в большинстве случаев касается лишь внутренней жизни человека: далеко не всегда человек должен противопоставлять себя обществу. В те же времена необходимость выбора была очевидной: или ты атеист, или – христианин. Есть в этом что-то пленительное: укрыться в шалаше от всего мира Христа ради... Читая книгу, и сам погружаешься в эту атмосферу: „всё возможно верующему“, – и мерещатся уж серьезные дела веры: раз они (герои книги) смогли перешагнуть через социальные страхи, в некотором смысле преодолеть социальные законы, почему же другие не могут?..»

Читая эту «стенографию детства», вспомним и свою «зарю туманной юности». И, может быть, многие наши недоумения и проблемы разрешатся сами собою в свете божественного детского порыва, в котором смысл нашей жизни выражается не в умозаключениях и сентенциях, а в горячей исповеди детского сердца:

«Знаешь, как я люблю всех людей? Так, что хочу умереть за них!..»

Часть первая

02.12.83

Погода переменялась 30-го вечером – потянул холодный ветерок с севера, слякотные дорожки подсохли на глазах, а лужицы начали затягиваться хрупким ледком. Наутро, 1-го, в день нашего отъезда из Нижнего Новгорода, даже подсыпало снежком. И в Самару мы нынче утром приехали в настоящую зиму: снег, – 7° и ветер.

Вечером нас навестила Маша – мы не виделись чуть ли не два года! Приехала – румяная, вся такая счастливая от радости встречи – и показалась мне удивительно юной...

Лизанька (2,5 года) была сегодня хороша, тиха и спокойна. Днём, пока Оля готовила на кухне, мы с нею играли: то кормили зверушек, то строили башни из кубиков:

– Смотри, Лизанька, какая у меня высокая!..

– Нек, нек! Ни как! (нет, не так)

И она нетерпеливым взмахом руки опрокидывает моё строение. Садится рядом:

– Вок! вок!.. (вот, вот)... А кук ыбка бугек зить... (а тут рыбка будет жить)

Ладно, пусть. Я строю другую башню. Кубиков не хватает.

– Отесинька, гай мне хок агин... (дай мне хоть один)... А ко не хвакаек (не хватает).

05.12.83

Вчера были с Олечкою у ранней обедни, а за поздней причастили Лизаньку. Оказывается, мы соскучились по Покровскому храму. Вошли – как в родной дом после долгой разлуки. У Олечки блестели глаза от подступавших слёз:

– Как здесь хорошо!..

– Наш храм...

Сегодня втроём ходили в больницу: пятнышки у Лизаньки так и не сходят. Я сидел в коридоре, Оля с Лизой зашли к врачу... Доктором оказалась молодая и довольно вздорная женщина, напугавшая Олечку своей напористостью:

– Работаете?.. Нет?.. Из-за ребёнка?.. Отдайте в садик! ребёнок должен среди людей отираться!.. Мой с полутора лет в сад ходит, только на выходные домой беру – так обратно просятся!

– Обидно, должно быть... – робко заметила Оля.

– Вот ещё! До смерти рада!

Вечером, уже перед сном, нёс Лизаньку к иконам и по дороге нечаянно запел: «Ходит Дрёма возле дома...» Лизанька испуганно крутнулась у меня на руках, обняла меня за шею и прижалась.

– Что ты, Лизанька? – остановился я в удивлении.

– Кам Г'ёма хогик... (там Дрёма ходит)... С'ыхих?.. (слышишь?)... Не хаги куга... (не ходи туда)...

– Куда не ходить, душа моя?

Она не посмела показать рукою направление, только глазки скашивала на окна:

– Куга... (туда)

И уже перед самым сном, после купания: Оля – важным шёпотом:

– Вот ползёт черепашка... А где же маленькая девочка?

Лиза торопливо натягивает на себя плед:

– Кук!.. (тут)
– «Кук»! – смеёмся мы с Олечкою, и Лизанька недоверчиво улыбается в ответ – не понимая причины нашего веселья.

Вместо прежнего «акобись» (автобус) стала говорить «апкобись». Фонетика явно становится разнообразнее.

07.12.83

Вчерашний день провели дома, сегодня собираюсь ехать в библиотеку. Олечка хоть и хлопочет по дому, но как-то с ленцой. Часто спит вместе с Лизанькой. Боюсь, как бы она не заболела. Раньше к ней только таким путём возвращалось душевное напряжение. Впрочем, спаси, Господи, и помилуй.

Раз, поиграв с Лизанькою, мы с Олечкою поднялись вдруг и одновременно пошли из комнаты (не помню – зачем), и вслед нам раздался бунтующий вскрик:

– Ни бугу анна!.. (не буду одна)

А вчера утром попросила у меня просфорку.

– А где же они, просфорочки, Лизанька?

– Игём, – поманила она ручкою и подбежала к книжным полкам. – Вон! В касивой банке!..

И, сунув палец в рот, повторила с удовольствием:

– В касивой банке!

Прыгала в кровати и вдруг остановилась (мы с Олею сидели на софе):

– Мама, а почему в эком гоме неку кофейника? (в этом доме нет кофейника?)

Это – память о деревне...

Я запускал ей волчок (вчера купили), а она что-то восторженно кричала. Я не сразу разобрал:

– Как ванкияка!.. (как вентилятор)

08.12.83

Вчера, во второй половине дня, и сегодня с утра был в библиотеке. Взял на свой номер три тома Хомякова, и первый том – чуть ли не в 800 страниц! Что тут я успею? надо ведь и на работу устраиваться... Но и завтра с утра поеду в библиотеку: помимо Хомякова, хочу заглянуть в Шильдера и Дюкре-Дюмениля полистать (Августа Лафонтена решил оставить «на потом» – «роман во вкусе Лафонтена»).

С Лизанькой произошла небольшая метаморфоза: до сих пор нам никак не удавалось покатать её на санках. Проедет метров 20 и уже кричит недовольно. Решительно слазит, пыхтя, зацепляет варежкой верёвочку и тащит санки сама. А тут дня два назад мы гуляли вечером (втроём), и Лизанька, как всегда, сама тащила санки («хоть не бери!»). Мы с Олею шли позади – разумеется, черепашьям шагом.

– Иди-ка ты, Олечка, вперед, – решил я, – а мы уж там подъедем.

Оля побежала в магазины, а мы с Лизанькою тем же траурным маршем потащились за нею.

– Ах, Лиза! – не выдержал я. – Давай-ка я тебя прокачу, а?.. Хочешь, тебя Ивушка повезёт?

Эта «Ивушка» была счастливой находкой: Лизанька тут же полезла в санки и, не успев ещё сесть, уже кричала:

– Но!

И я помчался... Увы, маленькая девочка вошла во вкус – настолько, что вообще не хотела слазить с санок, даже замерзать стала. Но – сидит, понукает и просит:

– Биськей! (быстрей)

Сегодня тоже вдоволь погоняла меня, пока самой не надоело:

– Сё. Нагуяась... Пайгём гамой.

Проходили мы с нею через больничный пустырь, и она вспомнила (через полгода):

– А кук отесинька абокаек... (работает)

Но чаще вспоминает «Хахиньку» (Сашеньку) и «Еночку» (Леночку) и «сеый гомик».

– Что за серый домик, Лизанька?

– Ну, нах!.. (наш)... В насея дивене... (в нашей деревне)

10.12.83

Мы с Олечкою завтракаем на кухне, Лиза играет в бабушкиной комнате. Бабушка, любящая маленькой девочкой, громко и умиленно спрашивает:

– Ну, а щи Лизанька любит? а картошечку любит?

В ответ задышала, заторопилась Лизанька:

– Какохочку низя юбить... какохочку низя... юдей нага... нага юдей юбить... какохочку низя...

Но бабушка ничего не понимает, она плохо различает Лизин говорок, и, со счастливой улыбкой глядя на встревоженное лицо Лизаньки, продолжает своё умиленно-восторженное перечисление блюд:

– А кашку? кашку Лизанька любит?..

Из Пушкина выписал (всё кажется – это о нас и для нас):

*Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.*

Это 35-ый год, а в следующем:

*Забыв и роццу и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюёт и брызжет воду,
И песней тешитя живой.*

12.12.83

Вчера причащались, исповедовал о. Иоанн. Сегодня утром ходил в РСУ – обещали взять (грузчиком), но просили позвонить через неделю. Потом гулял с Лизанькою – едва ли не более двух часов, но она так разыгралась, что всё равно не хотела идти домой. Зато спала потом часа три.

Одеваемся гулять. Лиза шалит, не даётся. Олечка:

– Не вертись же, Лизанька!.. Что за девочка! ну, что за девочка!.. Ты только погляди, отесинька: разве это девочка? Это же обезьянка.

Я незаметно стучу в стену:

– Тук-тук! А вот и дядя идёт, дядя с мешком. Идёт и спрашивает: «Где тут у вас обезьянки? Есть ли у вас обезьянки? Дайте-ка мне одну...»

Лиза затихает, слушает. Маминька пользуется этим и быстро одевает её, приговаривая:

– Уходи, дядя! Нет у нас обезьянки! У нас – послушная девочка Лизанька.

– Га, – с опаскою подтверждает Лиза.

– Ну, вот и уходи, дядя. Нет у нас обезьянки.

– У насъ бываюк обизянки, – оживляется вдруг Лизанька, с лукавой улыбкой поглядывая по сторонам, и расставляет ручки, – но всё авно неку...

Мы с Олечкою пьём чай на кухне, Лизанька заигралась в нашей комнате. Вдруг бежит к нам – личико испуганное.

– Что такое? Что случилось?

– Кам Г'ёма...

– Дрёма?

Да, за окном уже синеют сумерки.

– Ещё рано для Дрёмы, Лизанька...

И чтобы она не боялась, я пошёл с нею и положил на подоконник конфетку. Лизанька выглянула из-за меня, увидела конфетку, вскрикнула и восхитилась – вся. Но тут же сказала:

– А мне низя...

И, путаясь, объяснила, что ей можно есть конфетки только «пе-ед абегом» (перед обедом) – спуталась, видимо, от спешки и волнения.

Спрашивает у Оли:

– А потиму кы мою бабушку зовёх маминькой?

Обижается:

– Кага я ни бугу с вами г'узить!

Сравнивает:

– А маминька исё мехне (меньше), а я исё высокой...

Утешает себя:

– Ну и скофф!.. ну и скось!.. (ну и что ж)

Из книжки архиепископа Вениамина о преп. Серафиме (Париж, 1932) выписал удивительно практичный совет:

«В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми очами, с внутренним вниманием; открывать же очи – разве тогда, когда уныешь, или сон будет отягощать тебя и склонять к дреманию; тогда очи должно обращать на образ или на горящую пред ним свечу».

И так мудро сказано о настроении:

«Весёлость – не грех, матушка: она отгоняет усталость; а от усталости уныние бывает, и хуже его нет».

Из беседы с Мотовиловым (касаясь проблемы поистине головоломной):

«Не с такою силою, как в народе Божием, но проявление Духа Божияго действовало и в язычниках, не ведавших Бога Истиннаго, потому что и из их среды Бог находил избранных Себе людей. Таковы, например, были девственницы-пророчицы, сивиллы, которые обрекали себя на девство хотя для Бога неведомого... Также и философы языческие, которые хотя и во тьме неведения Божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, не непричастны Духу Божиему...»

13.12.83

Хомяков – о послепетровской эпохе: «Тёмное чувство этой невидимой и в то же время ещё неосознанной опасности /то есть с чуждым просвещением принять и чужой дух – В. Д./ удаляло от нового просвещения множество людей и целые сословия, для которых оно могло бы быть доступно, и это удаление, которое спасло нас от полного разрыва со всею нашею историческою жизнью, мы можем и должны признавать за особенное счастье».

Это вполне моя мысль; я знаю, что она отдаёт «обскурантизмом», что это «счастье» обернулось для страны замедленностью экономического роста и отсталостью в просвещении, но я считаю, что трезвому взгляду надо видеть в исторических явлениях неизбежную их двойственность – любые приобретения оплачиваются потерями, зачастую невозвратимыми. Благо «просвещения» принесло людям безверие и мелкость душ, зло «крепостного права» триста лет хранило живительную теплоту крестьянского (христианского) мира, а блага «научно-технической революции» всё решительнее отнимают у человека естественную среду обитания. И так далее. У Хомякова и славянофилов было гораздо меньше поводов придти к такой мысли, чем у нас, и меня восхищает их прозорливость. Это – озарение.

«Россия приняла в своё великое лоно много разных племён... но имя, бытие и значение получила она от Русского народа (т. е. человека Великой, Малой, Белой Руси). Остальные должны с ним слиться вполне: разумные, если поймут эту необходимость; великие, если соединиться с этою великою личностью; ничтожные, если вздумают удерживать свою мелкую самобытность. Русское просвещение – жизнь России».

Подумать только, что в «николаевскую эпоху» можно было высказывать такие вещи, которые в наш просвещённый и гуманный век не только писать, но и читать опасно... Францию Хомяков называет страной в высшей степени «антихудожественной» – а ведь он не мог знать, что извращение искусства, порча таланта «на корню» зародится именно в этой стране.

О «русском просвещении» он дальше пишет, что это вера – «вера православная».

И по поводу Аксакова: «Нежность души не имеет ничего общего с изнеженностью; она принадлежит энергии, как истинная грация не существует без внутренней силы».

Чудо – как хорошо!

15.12.83

Десятый час, а Лиза уже спит – редкий случай...

Каждый день бываю в библиотеке – обыкновенно с утра, часа на четыре; во второй половине дня – прогулки и домашние дела. Сегодня вечером ходили в гости к Татьяне Ивановне. Она «церковница» – крупная, но очень подвижная женщина, с большим круглым, простецким лицом. К нам приглядывается с живым любопытством: то ли не верит своим глазам (такие молодые и – верующие?), то ли «не может наглядеться». Она вхожа к владыке и в Покровском храме как будто пользуется известным авторитетом. Познакомились мы с нею по дороге: живёт она в наших краях, и как-то мы сошли на нашей остановке с одного трамвая... Время от времени она испытующе говорит:

– Надо вам сходить к владыке...

– Зачем? – пожимаю я плечами.

– Познакомиться! – многозначительно говорит она.

– Да неловко как-то. Всё-таки владыка – человек занятой... Вон, к нему со всей епархии едут со своими заботами и печальями... А мы – «познакомиться»!

На мои отговорки она обычно отвечает укорительным взглядом, но аргументов не находит.

Лизанька перевязывает куклу ленточкой:

– Смоки («смотри»! – хотя, пожалуй, она уже говорит не просто «смоки», а уже подыскивается под истинное звучание: «смок’и»), как я завинува (завернула)! Как я жёсько зак’ешила (закрепила)!

Разглядывает патриарха Пимена – на церковном календаре, что висит у нас над столом.

– Это патриарх, Лизанька. Самый главный батюшка...

– Самый гамный батюшка, – с уважением повторяет она, – и в с’япе (в шляпе)...

– Это – митра.

– Ско (что)? – переводит она на меня свои чистые глазки.

Морщась, я полощу рот водкой (зуб болит).

– А ки тё деваешь? (а ты что делаешь?)

– Лечусь, Лизанька.

Смотрит внимательно и вдруг смеётся:

– А помних, отесинька, ви вино пии? (вы вино пили)

– Где? когда?

– Кам, в дивене... (там, в деревне)

И, скроив гримаску, хихикает:

– Хи-хи!

Обедаем; Лиза уже соскользнула с колен маминьки – нашла себе занятие с пустыми бутылками (всё стоят на кухне, не умеем сбыть, а Оля чуть ли не ежедневно покупает минеральную воду).

– Смок’и, – показывает, поднимая, тёмно-зелёную бутылку, – понная букивка (полная бутылка).

А она пустая.

17.12.83

На номере в библиотеке у меня лежат «Богословские труды» Хомякова, но я углядел в каталоге книгу Самарина «Иезуиты и их отношения к России» (М., 1870 – третье издание за четыре года; издал всё тот же Пётр Бартенов, редактор «Русского Архива», основанного им по мысли Хомякова) и не утерпел – прочитал залпом, в два приёма.

Кратко: впервые иезуиты явились к нам в свите Самозванца (не считая Поссевина, который сразу же отметился у нас предательством), с ним же и были изгнаны; потом прибыли в свите послов Немецкого императора и недолго благоденствовали под покровительством тогдашнего «прогрессиста» – князя Василия Голицына (прогрессисты и либералы удивительно последовательны в своём стремлении нанести хоть какой-нибудь вред своей нелюбимой родине). По просьбе патриарха Иоакима в 1688 году их выпроводили за Литовский рубеж за счёт казны; в спешке отцы-иезуиты оставили москвитам свою любовную переписку. В третий раз пробрались при Петре, но тоже ненадолго – были высланы в 1720 году. При Екатерине II иезуиты были приобретены Россией вместе с Белоруссией (1772 г.), но были поставлены под строгий надзор:

«Судьба послала Екатерине даровитого и вполне сознательного сотрудника в лице литовского дворянина, впоследствии архи епископа, а ещё позднее митрополита Сестринцевича, в продолжении полустолетия управлявшего всею Латинскою церковью в пределах России.

На этом поприще он был для Екатерины тем самым, чем были при ней Суворов и Румянцев по военной части, Потёмкин по делам восточной политики, Бецкий по общественному

призрению и воспитанию, князь Вяземский и Безбородко по делам внутреннего и гражданского законодательства».

При Павле, выхлопотавшем у папы восстановление ордена в пределах России, иезуит Грубер добился ссылки Сестринцевича. Но в 1820 году их самих попросили вон.

«Я не принадлежу к безусловным поклонникам Александровской эпохи, но я отдаю справедливость людям того времени. При всей шаткости их понятий и неустойчивости их направления, они не терпели притворства, не мирились с обманом и ненавидели подлость; чувство чести и гражданской честности было в них живо и сильно развито. Это именно чувство и заговорило против иезуитов. Оно не вынесло их воровских приёмов».

О существе этих приёмов Самарин пишет с богословской точностью:

«В душе каждого человека таится более или менее сознательное поползновение убаюкать свою совесть, подкупить её или спрятаться от её докучливых обличений за каким-нибудь благовидным предлогом. Это поползновение хуже всякого прямого влечения ко злу, потому что ослабляет и стремится подрезать в самом корне всякое живое противодействие злу, начиная с внутреннего смысла различения добра от зла.

Иезуиты угадали, в покушениях человека на чуткость его собственной совести и в уклонениях его от строгих её требований, присутствие страшной силы, способной сделаться превосходным орудием для порабощения чужой воли. Они изучили эту силу во всех её проявлениях, овладели ею и на ней, как на незыблемой, всегда присущей человеку психической основе, вывели стройное здание своего учения и своей организации».

В магазине «Дружба» купил и уже прочитал любопытную книжечку – «Das Niebelungenlied», прозаическое переложение. Считают, что «Песнь» была написана около 1200 г. неизвестным поэтом на материале раннего бургундского эпоса (поражает жажда мести и хладнокровность резни).

Тогда же купил и рассказы Михаила Кузмина «Die grüne Nachtigal» (нам нельзя, а немцам можно!) – проза ясная и прозрачная. Искусственная, но изящной и искусной выделки. Читаю, нравится. Думаю, что на русском языке эта проза будет глядеться иначе – манерно и мелко.

19.12.83

Утром был в РСУ, подписал заявление у зам. начальника, завтра иду оформляться.

Оля написала несколько писем, кое-что выпишу:

«Здравствуй, дорогой Женя, покорно прошу простить меня за столь долгое молчание... Причины на то были не столько внешние, сколько внутренние... лето мы провели в деревне, дожив там до заморозков и снега. Володя, наконец, смог осуществить свою мечту – четыре месяца он проработал пастухом в Нижегородской губернии. Жили мы в небольшом «собственном» домике, на выселках, то есть в месте полупустом, полуобитаемом, в три семьи: небезызвестный тебе Шукин с женою и дочкою и ещё одно, незнакомое тебе, семейство. Письмо твоё мама переслала мне туда, но я так и не смогла тогда ответить. Не из-за времени – его было предостаточно, особенно долгими летними днями, когда наши пастушки уходили из дома с зарёю утреннею и возвращались с вечернею – но из-за чувства особенной полноты жизни, ставшей бездумной и бессловесной. Ведь причина слова всегда – тоска...»

Тут Олечка клеветает на себя: не была она ни бездумной, ни бессловесной. Другое дело, что нужды не было в городском мире, не тянуло в «современность». Мы жили не только «против неба на земле», но и в «межвременьях» – просто «летом». И причина слова всё-таки любовь...

«Дорогая Ниночка, опять я виновата перед тобою... Я часто вспоминаю тебя, но слишком долго мы находились в дороге... Расскажу тебе о наших странствиях...

Представь себе небольшой домик на выселках, на вершине холма, в метрах пятистах от деревни, уходящей вниз, к пруду. Он спрятался под кроной огромной берёзы, вокруг – нетронутая трава, за домом – небольшой, запущенный сад, на задах – банька, заросшая кустами вишни, опутанная ежевикой. Выйдешь на крылечко, и перед глазами удивительная картина – холмы, овраги, деревушки, поля и леса – на десять вёрст огляд!..

Пастухи наши уходили из дому до рассвета, а возвращались – когда солнце лежало почти на линии горизонта. Такие долгие были дни, так медленно текло время – разве что в детстве я ощущала такую полноту и такую длительность жизни.

Володя стал почти сельским жителем и даже верно предсказывал погоду на день, взглянув поутру на росу на траве...»

Вечером (мы готовились ко сну), Лизанька, повторяя за Олечкою, внезапно, вместо обычного своего «люб'ю», выговорила ясно, с переливами «люб-лю».

21.12.83

Вчера утром ходил в контору – оформился на работу; выйду, сказал, в понедельник. Потом стирал Лизанькино и вывел её самое на часик погулять (и упали! вот было горе: санки перевернулись, и она ткнулась прямо своим белым личиком – «беляночкой» её зовут даже прохожие – в жёсткую и грязную дорожку: снега очень мало до сих пор, и он так грязен).

В первом часу пополудни поехал в библиотеку; читал 2-й том Хомякова, засыпая каждые 20 минут, но высидел до 5-ти часов. Едва приехал, тут же тронулись в обычный ежевечерний поход: аптека, магазины. В универмаге, пока Олечка делает смотр всем отделам, мы с Лизанькою застреваем в игрушечном.

– Смотри, Лизанька, вот корзиночка!

Берёт и размахивает, примериваясь:

– За г'ибами ходик! (за грибами ходить)

– А вот машинка-кран!

Поднимает глаза, поучающе:

– Паг'ёмный (подъёмный).

24.12.83

Афоризмы из Хомякова:

«Единство, как понимают его Латиняне, есть Церковь без христианина; свобода, как понимают её протестанты, есть христианин без Церкви».

«Для мужа его подруга не просто одна из женщин, но жена; её сожитель не просто один из мужчин, но муж; для них обоих остальной род человеческий не имеет пола» /в прообраз ангельского бытия, где уже «не посягают»/.

«Бог есть свобода для всех чистых существ; Он есть закон для человека невозрождённого; Он есть необходимость только для демонов».

Слово «Бог», по Хомякову, образовалось от глагола «быть».

Энергичное предисловие Самарина вновь произвело на меня впечатление. Сильные, верные люди.

Между делом всё-таки прочитал повести г-жи Жанлис – в переводе Карамзина! – и пару романов Дюкре-Дюмениля; мадам показалась мне более искусной писательницей, месье – слащав не в меру, его «Мальчик, наигрывающий разные штуки» издан «без места и года», но, судя по неуклюжему переводу, «прямо из печи», где-то в начале века.

Графиня на 15 лет была старше своего «союзника» по сентиментальности и выше по положению; близкое знакомство с «обществом» сделало её перо более трезвым и умным. Хотя и у

неё принцесса кормит грудью крестьянское дитя (и автор выдаёт это за исторический факт), но сладость этой прозы довольно разбавлена остроумием. Светский ум – и не из заурядных. Даже с Руссо умела обойтись. А вот портрет Вольтера, для меня несколько неожиданный:

«Все бюсты и портреты г. Вольтера очень сходны, но ни один художник не мог представить глаз его. Я воображала их огненными: они в самом деле чрезвычайно умны и блестящи; но сверх того в них есть нечто кроткое и милое. Душа Заиры совершенно видна в глазах его: жаль, что улыбка и смех, хитрые и коварные, изменяют в нём это любезное выражение чувствительности. Он имеет вид дряхлости, и кажется ещё старше от Готической одежды своей. Голос у него дик и пронизателен; он же всегда кричит, хотя и не глух. Когда нет речи о Религии и неприятелях его, то Вольтер говорит просто, без всякой надменности...»

Слов нет, карамзинский слог чувствуется, узнаётся его изящная неуклюжесть: «не мог представить глаз» вместо «передать выражение», «он имеет вид дряхлости» – что можно сказать и по-русски, «пронизательный» голос, скорее всего, пронзительный... Но иногда у меня на мгновенье перехватывало дух, как от такого начала повести:

«Была полночь. У Морфизы ужинало много гостей; в карты играть перестали».

Знакомо?

Немного притомился. Этот год для меня заканчивается «Дневниками» и «Записными книжками» Достоевского. «Дневник писателя» я прочитал ещё в деревне – до «Кроткой» (и потерял закладку с выписками).

01.01.84

Погода неустойчива до сих пор, то падает за -10°, то карабкается к нулю. Новый снег выпал на католическое Рождество и прикрыл, наконец, малоснежное, в грязь истоптанное безобразие первых снегопадов. А с 26-го я работаю грузчиком; на первых порах тяжело – целый день втроём разъезжаем в фургоне по ремонтным объектам и разносим по этажам плитку, цемент, листы «двп» и прочее. Почему-то чаще всего выпадают именно пятые этажи в «хрущёвках». Домой прихожу уже около шести часов – усталый по-настоящему.

Карандаши у Лизаньки «паскые» (простые) и «цвекные».

– Ки шко! (ты что!) – закричала она, когда я машинально взял мандариновую корочку из кучки, которую она, играясь, сложила на диване. – Ки шко!.. Она хэ гаячая!.. (она же горячая) Она хэ в печи ихава!.. (лежала)

Рассматриваем картинки.

– Ок! (вот) – говорит, удивляясь, Лиза. – На кукую зку похохэ! (на кукурузку похоже)

И, воспламеняясь, уже кричит:

– А помнихъ, мы кукую зку сабиваи? (кукурузку собирали)

– Где, душа моя?

– В пое сабиваи!.. (в поле собирали)... И в юкзак скавы... ва... ва...

– Складывали, – подсказываю я, и она с облегчением кивает.

Сидит на горшочке. Тут «приходит» кукла Катя и пытается стащить с него Лизаньку. Увы, не получается.

– Не получается, – жалобно «говорит» кукла Катя.

С доброжелательным любопытством проследив за усилиями куклы Кати, Лизанька отвечает с сочувствием:

– Пакамухко я тихолая и бахая... (тяжёлая и большая)

Звук «х» у неё глубокий, с тенью звука «г», как в малороссийском наречии.

– А я? – наивно «спрашивает» кукла Катя.

Лиза даже наклоняется к ней:
– А ки маенькая. Пуськ мегвег п'идёк и миня скащит... (пусть медведь придёт и меня стащит).

05.01.84

Дочитал «Трагедии и стихотворения» Хомякова. Драматурга в нём Пушкин не признавал, но несколько раз отозвался о его «прекрасных стихах». Об успехе «Ермака» на театре Пушкин обмолвился: ««Ермак» А. С. Хомякова есть более произведение лирическое, чем драматическое. Успехом своим оно обязано прекрасным стихам, коими оно писано». Позднее сказал ещё определённое: «Идеализированный «Ермак», лирическое произведение пылкого юношеского вдохновения, не есть произведение драматическое. В нем всё чуждо нашим нравам и духу, всё, даже самая очаровательная прелесть поэзии».

Гоголь назвал Хомякова и Веневитинова людьми, «не рождёнными для поэзии», но чьи одарённые души не могли не отозваться на поэтический пафос времени.

Мне кажется, что и у того, и у другого есть несомненные удачи – даже в «Самозванце», и уж тем более в стихах. Например, «В альбом сестре»:

*Когда с душою умиленной
Ты к небу взор возводишь свой,
Не за себя мольбы смиренной
Ты тихо шепчешь звук святой;
Но светлыми полна мечтами,
Паришь ты мыслью над звездами,
Огнем пылаешь неземным
И на печали, на желанья
Глядишь как юный серафим,
Бессмертный, полный состраданья,
Но чуждый бедствиям земным.*

Это – из ранних; далее его муза только хорошеет; любопытно, что свои лучшие плоды она приносит поэту после смерти Пушкина: «России», «К детям», «Ещё об нём» (sic!), «По прочтении псалма»... И хотя он сам о себе говорил, что «...мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозаик /прозаик/ везде проглядывает и, следовательно, должен, наконец, задуть стихотворца», место Хомякова в пантеоне русской поэзии неоспоримо. По крайней мере, в моём представлении.

15.01.84

Вчера вечером Оля написала письмо Танечке Щукиной:

«...Когда нам с Лизанькой приходится выбраться в свет – в больницу, например, или вот третьего дня навещали двух больных старушек, наших бывших соседок (неверующих) – я прихожу домой с таким тяжёлым сердцем от пустоты и бессмысленности текущей мимо жизни. Особенно тягостно смотреть на детей, ангельскими голосками произносящих ругательства. И, вообще, откуда эта дикая интонация в их общении друг с другом?»

Одна отрада – посидеть вечером, перед сном, за чаем с Володей на кухне и вспомнить вас, милых. Какими благородными, чистыми, грациозными видятся нам ваши лица! Разве им место в уличной толпе? Я никак не могу привыкнуть к этой общей холодной грубости, и с годами она мне всё мучительней и тяжелей.

С мамой нашей – слава Богу! – мы живём пока спокойно; без особенной теплоты, но и без ссор. Несколько раз, правда, пришлось объясниться по поводу того, что Лизанька молится перед едой и после, но объяснились очень мирно и кротко. Я молюсь о ней каждый день и прошу также и ваших молитв о заблудшей душе. Володя очень спокоен в отношениях с мамой, я просто удивляюсь ему, а он говорит, что его умудрила пастушеская жизнь...»

Утром с Олечкою были у ранней обедни; к поздней свозили Лизаньку – причастили. После обеда ездил в библиотеку, где просидел за Хомяковым до половины пятого. Потом втроём (и с санками) сходили в погреб за картошкой. И вот уже десятый час!..

21.01.84

Опять потеплело. Крещение (в четверг) только отметились недолгим морозцем до -15°. Оля с Лизанькою ездили за «великой агиасмой», я работал.

Ночью Олечка написала письмо Саше:

«...В Ботаническом саду мы ни разу не были с тех пор, как побывали там с тобою, хотя всегда вспоминаем об этом, когда проезжаем мимо. Если Самара не оставила тебе мрачных воспоминаний, мы всегда будем рады видеть тебя у нас и ещё раз совершить подобную прогулку, тем более что весна не за горами.

С мамой мы живём пока, слава Богу, мирно. Стараемся смирять себя – и Господь смиряет её сердце. Все беды, большие и малые, от гордости. Как начнёшь вглядываться в свои поступки – везде найдёшь её. В прошлое воскресенье меня тронули до слёз слова из Апостола: «Несите тяготы друг друга». И немощи, и несовершенства друг друга надо нести со смирением и любовью.

...Володя устроился на неудачную работу. И замерзает, и устаёт, и себе не принадлежит. Я всё уговариваю его поискать что-либо другое, а он упрямится...

Меня здесь, в городе, часто посещает чувство тревоги... Деревенской безмятежности не осталось и следа...»

24.01.84

Уже три дня стоят морозы (до -18°). Я только что пришёл с работы, и Оля мне рассказала: Лизанька вдруг запела частушку.

– Нехорошо, Лизанька, – сказала изумлённая маминька. – Не пой больше эту песенку.

– А потиму?

– Это нехорошая песенка.

– А бабушка поёк!

– Бабушка пусть поёт, а ты не пой.

Лизанька подумала и решила, что с бабушкой она будет петь плохие песни, а с маминькой «хаохие».

– Нет, – настаивала маминька. – Плохие совсем не нужно петь.

Задумалась маленькая девочка и оправдывающим голосом сказала, что бабушка же «стаинькая», она все песни хорошие забыла, а вот маминька – «новенькая», она ещё помнит хорошие песни.

– Вот и договорились, – с удовольствием говорю я.

– Га! – кричит Лизанька, прыгает на диване и протягивает ко мне ручки. – Отесська, паги сюга на минуточку!

– Что такое, душа моя?

– Вазьми миня на учки!

01.02.84

В воскресенье втроём были у ранней обедни: Лизанька нечаянно проснулась первой и, увидев, что мы собираемся в храм, стала проситься с нами. Олечка не хотела – столько возни! – но я посоветовал взять, и мы не пожалели. Лиза вела себя достойно, и о. Иоанн Филёв приобрёл её частичкой.

После храма мы расстались – любезные мои поехали домой, я – в библиотеку. Дочитал Хомякова и принялся было за выписки, но тут подошла Лена К-ская (мы не виделись, наверное, года три). Она всё ещё не замужем, по-прежнему преподаёт таджикам и вскоре защищает кандидатскую. О нас я рассказал скупой и в общих словах: живём-с, слава Богу...

Вечером были в гостях у Маши: как самозабвенно играла Лизанька с их Катей!

Вчера тоже был в библиотеке – вечером, после работы (переписывал Хомякова). Как-то не успеваю упомянуть, что Олечка беременна, и роды уже в Июле. Надо бы куда-нибудь её пристроить, чтобы получить «декретные».

Мы немного горюем: Лизанька время от времени жалуется на животик, и хирург сказал, что у неё грыжка и необходима операция; «надо молиться» – с сокрушением говорит Олечка.

Такая рассудительная девочка! Вчера, приехав из библиотеки (в половине 10-го), я взялся поиграть с нею и сказал – «от избытка чувств»:

– Ах ты, моя пузатенькая девочка!

– Пузякинская непавийно, – забормотала Лиза, перекладывая кубики, – не нага как гаваить – не павийно, нага гаваить поньненская.

Я научил её присказкам:

– Ни бюго, а чуго (не блюдо, а чудо).

– Попыка не пыка (попытка – не пытка).

– Во всех кы, Гуханька, наягах хаоха! (во всех ты, Душенька, нарядах хороша)

05.02.84

Удачный день – отпустили на обед; работы было мало, но делали длинные концы, и я слегка промёрз в кузове.

Лизанька на кухне:

– А ктё нозик съямав?

– Бабушка, наверное, – рассеянно отвечает Оля.

– Нек! Эко отесинька!

Правда, это я его сломал.

– Верно, Лизанька, – говорю, – это я...

– Акой кы неукьюзый! – смеётся она.

Вчера мы причащали её за поздней обедней.

10.02.84

Пришёл сегодня домой в половине 3-го, принёс деньги – 112 руб. (+70 в аванс)... Милые мои «вкушали» дневной сон; мой осторожный стукоток разбудил не только Олю, но и Лизаньку. Я вошёл – комната наша пуста и светла; на диване – раскрытая книга (Поселянин), это читала и уснула потом Олечка; в кровати, смяв одеяло, сидит Лизанька. Улыбнулась мне, увидев, склонила головку набок и вновь замерла, оставив задумчивый взор в пустоту – просыпается...

Вчера вечером она ушиблась – прыгала на мне перед сном и упала, ударившись верхней губкой о край диванной боковой стенки. Я окаменел, услышав глухой удар и – через несколько мгновений – плач Лизаньки. Позвал Олю. Она уже и так спешила к нам. Отняла у меня рыдающую девочку, спросила спокойно: «Что случилось?» – и ровным, ласковым голосом в минуту «заговорила» отчаянный Лизанькин плач.

Когда она в восторге и хочет пошалить, поёт непонятную песенку. Кривя губки и смеясь, выводит:

– Чиська-вуська-чизгагуська!

Но вообще-то говорит чисто. Маминька:

– Расскажи, Лизанька, как сок в магазине спит.

Лиза смеётся:

– Он спик в буквяхках и банках, он спик и пох'юпывает!

Оля застала её за безобразием – половой тряпкой Лизанька старательно протирала стёкла в книжном шкафу.

– Лизанька! – возмущённо воскликнула Оля. – Что ты делаешь? Нельзя!

Лиза вздрогнула от окрика и скривила губки:

– Кы миня испугава...

И сердито:

– Кы попугай, покамухко кы миня испугава!

Мне Олечка сказала:

– Как поражает меня это «зрение корней»!

12.02.84, воскресенье

Были с Олечкою у ранней обедни; Лизаньку не повезли, показалось – холодно. После завтрака, побаловавшись с Лизанькой, съездил в библиотеку. Сходили в гости к Наташе, и вот печальный вечер – завтра на работу... Олечка хлопочет на кухне, Лизанька с нею, слышу – лопочет:

– Вихъ (видишь), акой он... (какой)

– Нет, – на что-то отвечает Оля, – от сока не заболеешь.

– Нек? – переспрашивает маленькая девочка. – Га?

Беседуют...

Прогуливались нынче во дворе в ожидании, когда выйдет маминька, и увидели мальчика, сосредоточенно гонящего шайбу у крыльца соседнего подъезда.

– А пайгём, – сказала Лизанька, – пасмок'им, хко он деваек... (что он делает)

– Пойдём, посмотрим...

– Чиво эко? Чёйненко? (чёрненькое)

– Это... хм... это такой кружочек...

– К'ухочик?.. Нек, эко не к'ухочик!

– Ну, шайба это, Лизанька! – поправляюсь я, заранее отчаиваясь объяснить ей, что такое «шайба». Но она переходит к другому предмету:

– А чиво он в уках дегхык? (а что он в руках держит)

– Это клюшка, – уже без увёрток отвечаю я.

– К'юхка... – запоминает она.

Оля вышла, мы тронулись в путь; Лизанька ехала на санках и всё что-то бормотала вполголоса. И вдруг рассмеялась.

– Что ты, Лизанька? – с любопытством остановился я.

– Сё перепукала! – отвечала она, смеясь. – Перепукала вогу...

– Что за «вогу»? – не понял я.

– Ну, вогу!.. А нага вогу!
– Ага, «воду»! – догадался я. Выходит, «на досуге», в санках, она размышляла о падежах. – Но где ты увидела воду?
– Чиво? – теперь не поняла она меня. – Чиво кы гаваих?
Едва ли мы объяснимся, подумал я, и мы поехали далее.
На прогулке заинтересовалась трамвайными остановками: какие они бывают?
– Зелёные, – перечислял я, – красные, жёлтые...
Она вдумчиво повторяла: «Хоккые...» И с любопытством:
– А чёйние?
– Чёрные? Нет, чёрных не бывает.
– А потиму?
– Видишь ли, это... печальный цвет, а людям нравятся цвета весёлые.
Она помолчала и сказала твёрдо:
– А мне н'авится печайный.
Дома – я позвал Олю из кухни, где она мыла посуду, но маминька не слышала и не откликлась. Лизанька вступилась:
– У ниё в канике вога хумит (у неё в кранике вода шумит), и нитиго не свыхно (и ничего не слышно)...

Дочитываю «Kleiste Werke» (1-й том); немецкое чтение у меня хромает – за полтора месяца прочитал только Гофмана «Märchen und Erzählungen» да «Хронику Воробьиного перелука» Раабе. Из русских книг наиболее существенны «Источник живой воды» об отце Иоанне Кронштадтском, «Пушкин в жизни» Вересаева (я не слышал ни одного доброго отзыва об этой книге, но чтение, разумеется, захватывающее, несмотря на тенденцию к «ничтожности» – все судят Пушкина... Но не только почитатели – даже неприятели Пушкина открывают в нём какую-нибудь разительную и яркую черту, и всё отступает вдаль, когда на страницах является сам Пушкин; хотя и на него ложится тень стараний Вересаева, и я как-то с трудом улавливаю ту чистоту, которая покоряет меня в чтении Пушкина... Как быть с гением? Нет ни этики такой, ни этикета. Какое одиночество!)

Последние – роман Лафонтена «Бланка и Минна» и «Семирамида» Хомякова. Роман пустоват, но писан с живостью. В «Записках о всемирной истории» сотни любопытных замечаний, читал с наслаждением и бессилием всё это усвоить, запомнить, а уж тем более выписать. Не могу сказать, насколько этот труд близок научной истине, но взгляд Хомякова всегда поразительно неожиданен, угол зрения и даже данные вообще вне поля нашего образования, эта система мышления – просто иной цивилизации. И это захватывающе интересно.

13.02.84, около полуночи

Спит Олечка, спит Лизанька, уткнувшись личиком в решётку своей кровати и прижав кулачки к подбородку... Прошлой ночью она проснулась в половине 4-го утра, громко плакала, требовала просфорочек «из всех баночек», гомонила, пока не поднялась бабушка, забрала капризницу у Оли и унесла её к себе. Там всхлипывания постепенно затихли. Я пытался спать и не вмешивался. Понедельник у меня – тяжёлый день. Но зато этот вечер был довольно весел. Я пришёл с работы в 5-ом часу, играл с Лизою; после ужина пошли с нею гулять, купили соку, катались с горки. Укладывать маленькую девочку начали в 9 часов. Что за милый ритуал! Начала – умываться. И каждый вечер она предварительно плачет: «Не хочу!» Потом, уже помолвившись, в рубашечке, с разрешения маминьки пляшет на диване под песню собственного сочинения: «Все танцуют босиком!» Звучит это так: «Се канцюк босиком!» Впрочем, сегодня она впервые сказала «басиком».

Нашёл листочек, на котором мною записано: «зиези, по зиезям» – «железы», так она раньше называла рельсы: мол, трамвай ездят «по зиезям»; теперь говорит «ейсы».

Часто просит то у меня, то у Оли:

– Я хачу фикагафии с кабой по смок'еть... Пагажди, я каб'еточки все убеу (значит, играла Олиной сумочкой с лекарствами)... А застигнуть никак не магу... сям застёгивай сюмку... Я ухэ (уже) пава... пава... вину застигнува... Я пакамухко с'ябень кая... (слабенькая)

Что-то ей рассказывал – видимо, о Толстом:

– А паком?

– Потом он умер.

– Умей... А патиму?

– Ну, что «почему»? Смертный человек... Все умирают, Лизанька.

– И мы ум'ём, – назидательно сказала вдруг она. – Вок пас'егний гок (вот последний год), а паком ум'ём и бугим у Госьпага...

17.02.84

На Сретенье погода нахмурилась, впервые – с Крещенья – задул южный ветер, сильно потеплело. Сегодня день вновь был солнечный, но уже не морозно зимний, а по-весеннему тёплый. И сейчас время к полночи, а за окном -5°.

Подбрасывал Лизаньку на ночь, она ахала, счастливо распахивая глазки, и я сказал:

– Ах ты, казак!

– Нек! – закричала она, размахивая ручками в полёте. – Нек, неплавийно!.. Не казьяк, а казьячка!

Олечка написала письмо Жене Д., я оставил себе копию, но какое-то оно неточное, и вписывать его сюда не хочу. Оля редко пишет, и контакт с листом бумаги теряется.

Я почему-то очень устал в эту неделю.

А прошлой ночью мне снились Арийцы, Агуро-Маздао, богиня Деркетто и ещё многое из хомьяковского калейдоскопа.

20.02.84, час пополуночи

Вечером были у нас гости – Маша и Юра со своею Катенькою. Выпили бутылку сухого вина, поговорили. Нас с Олею глубоко поразило их желание отдать Катю в детский сад – без всякой нудящей причины.

– Зачем? – изумлённо спросил я. – Для чего?

– Ну, а что она всё одна да одна? – сказала Маша. – Будет общаться...

Но, кажется, наше искреннее изумление всё-таки её смутило.

Оля ответила на письмо Танечки, в котором она обещает навестить нас:

«...Но почему же так нескоро? Приезжайте! Чугунов тоже обещает навестить нас и тоже медлит, зато пишет нам длинные хорошие письма...

Мы, слава Богу, здоровы. Только Лизанька наша время от времени жалуется на животик – у неё, оказывается, грыжка от рождения. В больнице нам сказали, что нужно явиться на операцию 4-го Июня, т. е. на другой день по исполнении трёх лет. Мы не знаем, что и делать. Лизаньку в больнице одну я не представляю. Мы всё молимся о ней и просим и ваших молитв.

Моя же летняя болезнь, от которой и все мы страдали, прошла чудесным образом – по молитве перед Казанской иконой Божией Матери и нашим домашним Распятием... Но как редко даётся нам такое состояние души, в котором молитва может быть услышана.

Недавно мы были у отца Иоанна. Он принял нас хорошо, взял ваш телефон, чуть ли не в тот же вечер собирался позвонить. Он к вам очень привязан и относится с самым горячим

участием ко всему, что вас касается. У них опять прибавилось семейство – и детей теперь у них девять человек.

...Обещанную книжечку из Лизанькиных речений Володя ещё не составил. Он очень устаёт на работе, особенно в середине месяца. Мы об этом часто думаем, но ни на что решиться не можем...»

21.02.84

Сегодня Лиза была наказана – постояла в углу. После примирения, сидя у Оли на коленях, взволнованно говорила:

– Кага кы миня наказываеах, я не виху, шко кы моя маминька (когда ты меня наказываешь, я не вижу, что ты моя маминька). У кибя акое гоэное ицо (у тебя такое грозное лицо).

Оля записала за нею:

«Лизанька так нежна и послушна последние три дня, что я не устаю радоваться и умиляться на неё.

В воскресенье утром, когда мы были на службе, она рассказывала наклонившейся к ней бабушке, что Господь всё сотворил – и травку, и птичек. А вечером я слышала, как она уговаривала Машину Катеньку вместе помолиться.

Сегодня мы были у Наташи, и её Людочка удивила меня своим мирным и тихим настроением. Я взяла её на колени и сказала:

– Какая ты, Людочка, сегодня хорошая!.. Правда, Лизанька?

Лизанька кивнула и, раскачиваясь на маленьком стульчике, заметила:

– А быва пахая! (была плохая)

– Почему?

– Очень сийно китява (сильно кричала).

Когда мы собрались уходить, Людочка поцеловала Лизаньку и сказала:

– Лизанька, слушайся маму.

– А кы с'ухайся свою маминьку, – ответила Лизанька, делая ударение на слове „свою”.

Перед сном Лизанька всё жаловалась на животик. Я так запечалилась этим, что, качая кроватку, всё думала о Лизанькиной болезни, и мысли мои от непроницаемости и растерянности вдруг вылились в молитву о Лизанькином исцелении, в сокрушение о своём неверии и неблагодарности. Лизанька лежала тихо-тихо в кроватке, и я думала, что она уже уснула. Но вдруг она подняла головку от подушки и позвала меня.

– Что, Лизанька? – наклонилась я к ней.

Сонным голосочком она сказала:

– Пупотек пеестав боеть... (пупочек перестал болеть)

Меня это так поразило. Я зашептала ей на ушко:

– Это Господь тебя исцеляет. Я всё время молюсь о тебе.

– Ну, катяй, катяй (качай)... – пробормотала она и тут же уснула».

23.02.84, пятый час утра

Вечером заигрался с Лизою, и она меня так полюбила, что попросила лечь с нею; разумеется, мы уснули втроём, и я проснулся только час назад. Не знаю, что делать – то ли спать ложиться, то ли уже окончательно вставать. На работе устаю до изумления – может, это весна так действует? По вечерам просто борюсь с сонливостью. В библиотеку езжу редко, и целая неделя ушла у меня на то, чтобы сделать выписки из 2-ой части «Семирамиды».

Кроме того, прочитаны «Великая реформа» и «Der Papst aus Osten» о современном папе из поляков (было любопытно узнать о треволнениях католической церкви; о политических

заботах нашей Церкви я почти ничего достоверного не знаю – только из разговоров на московских кухнях; впечатление таково, что этот папа сопротивляется усилиям превратить Церковь в демократическую говорильню, что весьма похвально – на первый взгляд).

Юбилейный, 1911-го года, сборник статей о «великой реформе» написан сплошь либералами; ну, и народ – кажется, они и рождаются с кислыми физиономиями; в действиях власти, в государственной и хозяйственной жизни видят только негатив; всё плохо – без них... Они ещё не знают, что через шесть лет им будет дана возможность «поруководить».

Реформы Александра Освободителя – это настоящая революция в жизни России. И никем ещё её последствия не рассмотрены и не исследованы – хотя бы в общих и крупных чертах (экономический взлёт, обнищание значительной части крестьянства, рост богатства и – одновременно – оппозиционных до радикальности настроений). По крайней мере, мне таких работ не попадалось.

На прогулке: Оля, от избытка чувств, потянулась поцеловать маленькую девочку, которая сидела у меня на руках, и, поцеловав, сказала:

– Ах, не расти больше, Лизанька! будь такой всегда!

– А кто хэ бугек книхки зёськие (взрослые) чикать? – возразила Лиза.

А перед сном лежали на диване, разговаривали, смеялись, Лиза была с нами ласкова и приветлива. Гляжу: улыбаясь, похлопывает Олю по спине своею маленькою ручкою. Я в этом жесте угадываю полноту удовольствия.

– Твоя маминька? – спрашиваю с улыбкой.

Кивает:

– Моя.

– И моя тоже...

Она отрывается от Оли и говорит назидательно, строго на меня глядя:

– Эко моя маминька, а квоя Оечка, Ойга...

И деньги кончаются.

24.02.84

Был тяжёлый день, поздно пришёл домой, но всё-таки прогулялись – в магазин, где Оля купила Лизаньке премилую рубашечку. На обратном пути мы с Лизою задержались на площадке перед домом – на четверть часика, пока маминька раздевается и раскладывает покупки. За это время Лиза вся вывалилась в снег, проехала с горки на животе (что обычно не разрешается), бегала в заснеженном «огороде» (так она назвала – и теперь и мы зовём – огороженную во дворе площадку для хоккея) и предлагала мне, хохоча без причины:

– Гавай бегать и пагать! (падать)

Перед сном – играем на диване.

– Гавай, кы бугех мегвег, а я – котёнок? Гавай?

Я рычу, в ответ она тихо и нежно мяукает.

– Кто тут мяукает? – грозно спрашиваю я.

– Эко я, котёночик...

– Ты что – меня не боишься?

– Нек... – но на всякий случай она обнимает меня за шею и прижимает к себе.

Я рычу тихонько, тоном выше. Лизанька растроганно мяукает и просит:

– Мегвег, не пугай миня...

Маминька смотрит на нас с умилением:

– Ах, какой медведь у тебя, Лизанька! Хороший!

– Он учной, – сообщает та доверительно.

– Ручной? Почему?

– Пакамухко он ычит...

Мы смеёмся, Оля изумлённо качает головой:

– Ай да Лизанька!

Лиза с любопытством переводит взгляд с Олечки на меня, с меня на Олечку и, оценив наш интерес, предлагает:

– Гавай запихэм! (давай запишем)

03.03.84

На прогулке – облазили все соседственные сугробы, переменяли варежки, и Лиза сказала:

– Пайгём на го'ку?

– На какую горку?

– На бахую.

– А санки возьмём?

– Нек. Мы на кактонку сягем и пае-егим!..

– Что ж, пошли. Только я не знаю, где эта большая горка.

– А я кибе покаху.

– Ну-с, куда идти? Показывай.

– Куга, вон куга – управляла Лиза варежкой, сидя у меня на руках. – Куга, в маочный магазинь...

– Ты что – знаешь, где молочный магазин?

Она кивнула:

– Кам маочный магазинь, паком х'ебный, а паком овочной. Маако п'адаю к (молоко продают) и х'еб... – она запнулась и тут же выправились, – и овочи...

– Хм, всё верно. А где же горка? Там нет никакой горки.

– Есь. Го'ка сзяди... Пойдех п'ямо, паком нап'аво, паком наево, и кам бугек го'ка...

Я вспомнил: да, правильно, есть горка. И Лиза с поразительной точностью обрисовала маршрут к ней. Но покататься нам не удалось: на горке стоял весь лёд и внизу, вместо ледяной дорожки, стояли полузамёрзшие лужи. Лизанька ползала по железному покрытию, раза два спросила: «А где мама?» – и направилась домой: «Сё. Нагуяась...»

Но возле дома ещё в охотку погоняла снежный камешек, смеясь и падая от смеха, когда промахивалась.

Я, в азарте игры, выкрикнул было жаргонное: «Промазала!» – но милая моя девочка проигнорировала неприличное моё замечание и, воскликнув «п'омахнувась!», упала от смеха на грязную дорожку.

И уже у самой двери, когда Оля на мой звонок отворяла дверь, вдруг стала рассказывать о «девочке Сене». Эта «девочка Сена» загадочно и неожиданно появилась в её воображении несколько дней назад, уже обзавелась различными атрибутами и даже уже играла с Лизанькою – «кага вы ухли в магазин, а я на гойке какаась (на горке каталась) с девочкой Сеной». Живёт «девочка Сена» почему-то в Суздале (у нас, по-моему, есть пара открыток с видами Суздаля).

Увидела, как я смачиваю руки одеколоном: «А мне?» Капнул и ей. Растёрла, понюхала ладошку и засмеялась:

– А помних? помних – мы нюхаи учки и пагаи (падали)?

Было такое, помню.

– А пайгём исё побауемся? И бугем пагать!

Идём на диван. Я нюхаю её ладошку, морщусь от сильного запаха, чихаю и падаю на спину. Она тоже нюхает, забавно морщится и, задирая ножки, плюхается рядом:

– Ай! от сийного запаха пагаю! – пытается подняться, но от смеха снова падает на спину. – Ой, никак ни вскану!.. Смехно!.. Ни магу вскать!

Обиженная, надулась, отвернулась.

– Лиза, я же нечаянно!

– Нек. Чаянно.

Утешаю её настольной лампой:

– Посмотри на стенку, Лизанька! Посмотри... Видишь? У-у, голова какая!.. А вот раз – и нет головы. Раз – и вот она.

– Смок'и! смок'и! – кричит и Лизанька. – У, гавава!

– Откуда, как ты думаешь, взялась эта голова на стенке?

– Ок свека! – торжествуя говорит она.

– Запишу, – бормочу я. – Разговорила... Ишь!

Лизанька заботливо подвигает мне лампу:

– Шкобы кибе винно быво...

Пока я пишу, прикладывает карандаш к носу:

– Как Буакино с оськ'им к'ювом...

Купали её сегодня – какая она худенькая стала! Растёт?

4.03.84, Прощёное воскресенье

Утром было -10°; к ранней обедне поехали втроём (проспали бы, если б не Лизанька); маленькую девочку причастили – с частицею. На завтрак я наделал блинов и поехал в библиотеку. Оля с Лизанькою пошли в гости к Наташе – без санок, о чём потом пожалела:

– Всё, более с Лизанькою никуда не пойду – спина болит...

Да, пора быть поосторожнее – вторая половина беременности, поноси-ка трёхлетнюю девочку на руках!

Я в библиотеке прочитал более ста страниц 3-ей части «Записок» Хомякова, позевал, несколько раз вздремнул над книгою и решил ехать домой. Оля как раз собиралась на чин прощения. Мы с Лизанькою выехали часом позже – без Оли процесс одевания становится отчаянным преодолением неразрешимых проблем – и встретили маминьку уже идущей от храма... И вот – завтра на работу. Господи, какая неохота!

07.03.84

В честь поста, наверное, неделя удалась лёгкой – вчера я пришёл с работы в 2 часа, сегодня – ещё и часу не было. Но в библиотеку не поехал... Что-то ленив я нынче стал.

Собираемся на прогулку.

– Что, Олечка, целы кожаные сапожки? – спрашиваю я.

– Нет, порвались, – отвечает она, – надо бы в мастерскую отдать.

– Куга? – вмешивается Лиза.

– В мастерскую, – объясняет Олечка, – там дядя сапожник работает, у него и машинка специальная есть – сапожки зашивает...

– Сапагна, га? Сапагна махынка?

Пьём вместе сок.

– Налей мне, Лизанька.

Отливает из своего стакана. Я пью – она смотрит, улыбаясь:

– Поннавийся сёк?

– Вкусно!

– А! Вкусно! – смеётся она и тоже пьёт. – И мне вкусно!

Едим сухарики.

– Са солем, га?

– С солью, – поправляю я. Это у неё из деревни ещё – такие вольности в склонении я заметил в речах Сашеньки и Леночки. Диалектное?

Попросила слепить медведя из пластилина.

– Вот ушки, вот голова, – леплю я.

– А где апки навиху (лапки наверху)? – ворчит она, отстраняется и говорит немного манерно. – Какой ск’анный (странный) мегвег у кибя!

Утром:

– А куга кы?

– На работу. На работу, душа моя.

– А бабушка не пойгёт на абоку?

– Нет, бабушка отдыхает.

– А кы потиму не агыхаех?

– Ну, бабушка старенькая...

– А кы новинький? – и смотрит пристально. – Га?

Я смеюсь и соглашаюсь.

– А бабушка не совсем стаинькая, – защищающим тоном говорит Лизанька, – совсем стаинькие с к’юшкой (с клюшкой) ходюк... – и неожиданно смеётся, – топ-топ-топ! И п’ямо в суг’ёб!

Это – рассказывает Олечка – она однажды на улице видела, как старенькая бабушка на улице нечаянно зашла в сугроб.

– Маминька не пойгёт на абоку, – продолжает Лизанька, – и я не пойгу. Пакамухка кы абочий, а мы гамахние (домашние).

Это уже Олины уроки. Мы смеёмся, и Олечка опять рассказывает, что иногда Лиза говорит, что у неё тоже есть работа – на диванчике, что у неё легче работать, чем у отесиньки, у него «зёсько» (жёстко), а у Лизаньки мягко – пусть отесинька у неё лучше работает.

Лиза тоже слушает всё это, кивает головой в подтверждение и повторяет:

– А?.. Пайгём у миня абокать?

– Что ж, ты и денежки мне платить будешь?

– Какие? – не понимает Лизанька.

– Желательно – большие...

Смотрит, соображая, и отвечает честно:

– Не зьяно...

Перед сном Лизанька прикладывается к иконкам (стоя на письменном столе – Оля придерживает её за спинку). Взяв образ св. Ольги, старательно целует его и что-то долго шепчет. Потом, приподнимаясь на цыпочки, ставит икону на полку. Олечка спрашивает:

– Лизанька, что ты говорила княгине Ольге?

– Свякая Ойга, спаси маминьку, отесиньку... и миня, и бабушку.

Всё-таки печалью веет от этих страниц – бежит, бежит время... (уж не из Марка ли Аврелия эта моя печаль? читаю на немецком, и прямо тоска берёт).

10.03.84

Вчера причастили Лизаньку – за литургией Преждеосвящённых Даров, сегодня причастились сами. Слава Богу!

14.03.84

Пришла пора и искушениям: Олечка нынче опять имела брань с матерью из-за Лизаньки – мол, губим ребёнка (Лиза играла «в молитвы»). Повторяется прошлогодняя история. Я повздыхал и пошёл разговаривать: увы, стена! «Надо бежать!» – твердит Олечка. Съездили к бабушке, он советует терпеть.

Вот Олины записи о Лизаньке:

– Я готовьюсь печи куичи!

– Лиза, почему ты сняла сапожки?

– Я мегвег. У миня оские кохти (острые когти), я могу сапожки п’огыявить! (продырявить)

Собираемся в магазин, я мечусь озабоченно. Лиза подпрыгивает, смеётся:

– Азвесейсь!.. (развеселись)... В Самаю пайгём!.. (в Самару пойдём)

А вот мои:

Оля, как-то искусно сложив бумажку, вырезала Лизаньке стрекозу (очень похоже). Но Лиза показывает мне на вырезанный узор на листе и говорит:

– Эко съег (след) ак скеказы... (от стрекозы)

А комарик, которого Оля вырезала следом, так Лизе понравился, что она носила его гулять, засунув в варежку. Пришли домой, снимаем варежки. Скомканный комарик падает на пол. Лизанька, присев, поднимает:

– Вихъ, какой он бегненький! (бедненький)

На кухне (маминька готовит обед – пшённую кашу):

– А я пхэно (пшено) кухаю!

Играет в «лифк»:

– Пасяхьи!.. (пассажиры)... Сягитесь!.. (садитесь)... Би-би!.. Пасахьи!

Сидит на диване, вертит в руках бумагу:

– Нохниньки гай! (ножницы)

– Лиза! – укоризненно говорю я.

Поднимает глаза, извинительным тоном:

– Похауйска! (пожалуйста)

16.03.84

Оля: «Я усыпляла Лизаньку – мы устроились на диване, укрылись пледом, Лизанька с закрытыми глазками всё ворочалась: прижмётся ко мне то одним, то другим боком, то вдруг погладит меня ладошкой по щеке.

Я поймала её ручки, расцеловала и сказала:

– Лизанька, мне так нравятся твои ручки! Подари мне одну? А я тебе свою подарю.

Лизанька забеспокоилась:

– А как я кибе гам? Они хэ кепко пик’еены... – Она подёргала свою ручку, побряхтела и вопросительно добавила. – А?

– Ну, как-нибудь открути, Лизанька. Очень мне нравятся маленькие ручки.

Лиза ещё больше заволновалась, заговорила громко:

– Как хэ я откутю? Они хэ во как п’ыгаюк (прыгают), а не кутятся.

– Ну, пожалуйста! – не отстаёт маминька.

– Миня вег Гасьпог так сдевав. Маинькие утьки сдевав. И никтё не мохэт мои утьки носить – ни отесинька, ни бабухка... У кибя свои утьки...»

Иногда плачущим голосом говорит:

– А я асти ни хочу!

Оля её поддерживают:

– Ну, и не расти, Лизанька.

– А как хэ? Я вег кухаю!

Я снова наращиваю темп чтения: пересмотрел у батюшки стопку Журналов Московской Патриархии: интересные статьи встречаются редко, в дореволюционных журналах содержание было богаче – даже просто фактами. Наткнулся, правда, на статью Флоренского – не знал, что его имя выплывает из-под запрета; судя по содержанию, это кусок из «Водоразделов мысли», и по «кусочности» своей он показался мне не совсем внятен. Наткнулся на машинописную брошюру, озаглавленную просто «Литургия» и подписанную скромно «преосв. Иоанн» (похоже, это труд нашего владыки). Вполне академична, как курсовая или дипломная работа.

Далее: статьи Соловьёва, «Идеалы христианской жизни» Поселянина, «Глас Доброго Пастыря», «Покаянный канон» св. Андрея Критского, переведённый стихами... И новеллы Томаса Манна на немецком – единственно художественное произведение для меня в этом месяце. Ах, нет! Ещё «Ифигения в Тавриде». И начал читать Шиллера.

22.03.84, заполночь

Вновь похолодало; третий день подряд выпадает снег; дни пасмурны. Я приболел немного, но уже выздоравливаю; зато заболевает Лизанька. Тёща уехала – в Ригу – покупать шубку для Лизаньки. Милые мои сидят дома одинёшеньки.

Дал Лизаньке стопку адаптированных немецких книжек. Сложила их стопкою, считает:

– Ась! Гва! К’и!.. Вок! цеую скопку (целую стопку) бугим чикать!

С нами читают и зверушки – собачку Тимку учу я:

– Мяу-мяу!.. Гав-гав-гав!..

У Лизаньки – лисёнок. Соображает по ходу сама:

– Мяу-мяу!.. лись-лись-лись!..

Теперь я – медведь. Лизанька кормит меня из ладошки:

– А эко бугек поспеххэе (будет попевшее) ябако (яблоко). Ну, кухай, кухай...

Я, громко чавкая, вылизываю пустую ладошку. Лиза одобритительно кивает моим стараниям, спрашивает:

– Исё?

– Ещё! – рычу я.

Старательно кормит. Потом прыгает по дивану, смеётся, поёт:

– Кы нам очинь поннавийся, буй мег вег! (ты нам очень понравился, бурый медведь).

Играют с маминькой в почту. Лизанька набивает книжками и игрушками коробку, с трудом закрывает и, взяв её подмышку, подходит к маминьке. Доверчиво и выжидающе поднимает глаза, говорит робко:

- Кук-кук!
 - Кто там? – официально спрашивает маминька.
 - Едва ли не упавшим голосом Лиза отвечает:
 - Девачка Лизинька...
 - Здравствуй, девочка Лизанька.
 - Згаськуй...
 - Ты посылку принесла?
 - Га...
 - Хорошо. Давай напишем адрес. Куда посылочка?
 - Еночке. Девачке Еночке.
 - А где она живёт?
 - В Маське...
 - В Москве. Так... От кого?
 - Ок Лизиньки, – почему-то смущается Лиза.
 - Адрес надо. Где ты живёшь?
 - В гоаге Самае... (в городе Самаре)
 - На улице?..
 - Кухынская... (Тушинская)
 - Дом?
 - Агин...
 - Сорок один!
 - Соок агин...
 - Квартира?
 - Номей гва...
 - Так, записали. Сколько она весит, посылочка?
 - Не зняю...
 - Сейчас взвесим... Та-ак...
- И вся в игре. Заворожила её маминька.

(Прочитав мои записи, Оля днём, когда я был на работе, дописала:

«Лизанька сидела у меня на коленях и, обняв меня, говорила:

– Маминька, я кибя очинь жаею. Я кибя очинь юб'ю.

Когда же мы играли „в почту“, Лизанька путешествовала со своей посылочкой сначала к Леночке, потом к Сашеньке; приехав, звонила в дверь и, когда Леночка или Сашенька спрашивали „кто там?“, отвечала:

– Девачка Лизинька...

Я щёлкала замочком – „чик-чик!“ – открывала дверь и всплёскивала руками:

– Ах! И кто это к нам приехал?!.. Лизанька!.. Как же ты одна добралась?

Лизанька с замершим личиком (до неё доходило, что она – „одна ехала“!) бросалась ко мне, смущённо пряталась у меня в коленях, потом взбиралась на них и, потупив глазки, тихо отвечала:

– Анна пиехала. На поезге... Я посыочку пивезла...»)

5.04.84

Пожалуй, весна. Вчера днём было +14°.

Марта 24-го к нам приехали Танечка с Леночкой, жили у нас целую неделю; мы дважды побывали у бабушки в гостях (Танечке о. Иоанн дал денег «на дорогу и на первое время»). Только мы проводили их на московский поезд, как вечером, часов в девять, когда мы уже располлагались ко сну, к нам нагрянули Володя Чугунов с Сашенькой – они прилетели самолётом. Вчера утром мы проводили их до «Икаруса».

На десять дней мы выпали из времени вообще – это была просто радость и детский смех вокруг. Даже не хочется описывать подробностей. Но кое-какие события я должен упомянуть: у Шукиных – Танечка вышла из комсомола, Володя устроился библиотекарем в консерваторию (получает 80 рублей); у Чугуновых – он дописал «Невесту» (пока ещё сыровата, но написана свежо и неожиданно).

Я уволился, не работаю с 3-го числа; намереваемся перебираться в Нижний. Как получу деньги, поеду устраиваться. Наташа и Чугунов предложили нам денежную помощь (от Чугунова вообще веет неистребимым оптимизмом – я уволился по его настоянию).

7.04.84, Благовещенье

С самого утра идёт дождь, хотя не весь снег ещё сошёл (а по старому календарю нынче первый день весны).

Олечка ездила ко второй, семичасовой, обедне; мы с Лизанькой подъехали только к «Тебе поем». Народу было тьма, но Оле с Лизой всё-таки удалось причаститься. Потом я ездил в библиотеку.

Мать наша очень ласкова со мною; устроилась киоскером – работает с раннего утра до позднего вечера. Дома всё тихо. Оля повеселела. И у меня родилась весёлая мысль: поехать нам всем вместе, втроём, в Москву, а оттуда я бы уже съездил в Нижний – искать работу и жильё. Но Олечке жаль денег (а их всё равно нет).

– Не бойсь! – кричит Лизанька, когда я в игре делаю испуганное лицо. Это тоже остатки «деревенского произношения». Я поправил её несколько раз, и теперь она старательно каждый раз поправляется сама, на ходу, уже почти выпалив:

– Не бои... Не бойся!

Удивительная память. Тут взяла раз и напела непринуждённо «Калинку-малинку»...

– У тебя есть ангел-хранитель? – спрашиваю я.

– Есь...

– А как его зовут?

– Еизавека...

Дочитал «Историю» Геродота. Застарелый школьный предрассудок считать древних «детьми несмысленными» каждый раз заставляет меня удивляться зрелости и даже мудрости их взглядов и оценок. И это после Платона и анекдотов Диогена Лаэртского! И вот «глас разума», достигающий нас через две с половиною тысячи лет: когда царь Кандавл предложил слуге своему Гигесу полюбоваться красотой своей жены, тот отвечал: «Что за неразумные слова, господин, ты говоришь? Ведь женщины вместе с одеждою совлекают с себя стыд!»

На драмы Шиллера у меня ушла неделя, но стихи его я решил читать по-русски; постоял в библиотеке между полок, перебирая томики разных изданий – нет, чуть ли не за каждым стихом чудится Жуковский!

Читаю Гуго фон Гофманстала – «Der Tod und der Tod». Австрийцы меня интересуют ещё с тех пор, как Гоголев порекомендовал мне Тракля. Немецкий язык австрийской литературы удивил меня каким-то совсем иным дыханием, даже плотность текста кажется иной (несмотря на «австриязмы»). Какое-то незримое, едва уловимое обаяние (нет грубоватости швейцарцев) исходит от этой прозы. Когда я прочитал галицийские повести Захер-Мазоха, то чуть ли не

произвёл его в «австрийские Тургеневы». Но Гофмансталь – это декаданс, со всеми его переживаниями (импрессионизм, неоромантизм, гедонизм – наслаждение игрой в прекрасное, наряду с надрывом и отчаянием), поэтому он менее национален и менее интересен. Странная нация, сплавленная из немцев, славян и евреев. Она дала миру Герцля, Шёнберга, Фрейда, Кафку и Гитлера – всё экстремисты. И это – при некоей «легковесности» общей культуры (оперетка, фельетон). Почему-то никто не занимается «австрийской литературой» как явлением. Может быть, из-за «легковесности»? Эта культура, как кажется, не имеет своего «родного» слова – природного, и потому – только психологична, не всходя к онтологии (зато – необыкновенно узорчата).

19.04.84, Великий Четверг

Я съездил в Нижний – поездом. Но до Чугуновых добрался без приключений и в шесть утра уже звонил им в дверь. Володя открыл не сразу, заспанный, но вмиг обрадовался. Мне же пришлось разочароваться: ни в пригороде, ни в самом городе (мы обошли несколько мест) устроиться так, как мы бы с Олею желали, невозможно. Начитался в гостях современной беллетристики – до оскомины. Чугунова соблазняет идея вступить в союз писателей. Непонятная прихоть (и, по-моему, опасная).

Вернулся через два дня, самолётом. Уже наигрался с Лизанькою.

– А помних, – говорит она мне, – быв акой с'учай?..

– Был! Был такой случай! – смеюсь я и слушаю её жадно.

Посидел сегодня часа два в библиотеке – читаю письма Хомякова. Осталось страниц сто, но когда дочитаю – Бог весть! Татьяна Ивановна сосватала меня покровскому старосте (всё равно, мол, дома сидишь), и я – по крайней мере, до Пасхи – буду помогать в храме. Завтра выхожу – к восьми.

Из Хомякова: «Последствия Протестантизма будут громадны только в смысле политическом: оно дало неверию право гражданской свободы, отделив государство от Церкви...»

Западная литература домогалась этого чуть ли не пятьсот лет, изображая патеров и монахов в виде, достойном посмеяния. По идее, в христианском обществе, в государстве, где живут христиане по христианским заповедям, безбожник должен быть изгоем, он – потенциально опасен, как представитель «противоположной стороны» (ведь «третьего не дано»), пусть даже он сам так не считает, так не думает и не верит в это. И нужны были века упорной работы, чтобы повсеместно вселить в головы представление о том, что христиане не просто «черны, как все мы», но гораздо хуже и гаже со своим лицемерием.

Что ж, теперь христиане становятся изгоями. Впрочем, это норма христианства.

30.04.84

По календарю Радоница завтра, но владыка перенёс её на сегодня – завтра улицы будут перекрыты. На службе мы были вчетвером – у нас пятый день гостит Миша... А я пропал в соборе – оказывается, в жизни при храме десятки мелких случаев, когда требуются крепкие руки, быстрые ноги и реактивная голова. И я там был не один – сменяясь, каждый день делом занимались около полутора десятка помощников (я был самым молодым из всех). Старички церковные мне понравились – крепкие, основательные мужички. И довольно подкованные. За все дни получил 35 рублей.

Теперь ищу работу и жильё. Поэтому мы решили, что мне надо идти в дворники. Обошёл уже десяток управлений (любопытным показалось, что на окраинах с жильём сложнее, чем в центре, но потом сообразил, что на окраинах нет развалюх).

Несу Лизаньку на руках. Она долго шуршит конфетой.

- Угости конфеткой, Лизанька.
- Нек... – невнимательно отвечает она.
- Ах, нехорошо! Угости! Пожалуйста!
- Нек, не угастю.
- Лиза, – говорю я с укоризною, – я же тебя несусь! Вот поставлю на землю и пойдёшь ножками.
- Неси, – щебечет она, хмуря лобик. – И низзя как гавайть. Нага безкаысно носить.

01.05.84

- Мы на кухне – пьём чай. Лизанька в бабушкиной комнате. Они беседуют:
- А кага я ум'ю, я пойгу ко Госьпагу...
- Бабушка молчит. Тогда Лизанька повторяет эту фразу раза три и с каждым разом всё громче, явно вызывая на ответ. Слышится приглушённый и быстрый ответ:
- В землю закопают и всё.
 - Нек, кы непавийно гавайшь, – радостно возражает Лизанька, чувствуя за собой авторитет наших бесед. – Кы кохэ, кага ум'ёшь, пойдёх ко Госьпагу.
 - Нет никакого Бога, – слышится ещё быстрее и тише.
- Лизанька, наоборот, повышает голос и почти кричит:
- Не гавай так! Гасьпог хывёт на небе!
- Бабушка совсем переходит на шёпот:
- Ты что кричишь? Хочешь, чтобы все слышали?
- Мы переглядываемся: не даёт спуску маленькая девочка!..

- Не хотела спать, и вот – стоит в углу:
- Маминька... п'асти миня... я бойхэ не бугу...
 - Как не будешь?
 - Халить не бугу... бугу гаськи зак'ывать...
 - И ляжешь в кроватку, как маминька велит? – Нек!
 - То есть как «нет»?
 - Кы дойхна (должна) миня на дивантик полохыть...
 - Почему «должна»?
 - Пакамухка кы миня любих!

02.05.84

Похолодало, но день ярко солнечный. Сильный ветер, поэтому мы сидим дома. Я занялся перепечаткой архиеп. Луки – «Дух, душа и тело». Блестящая работа, давно уж батюшке обещал перепечатать. Миша вчера улетел в Москву; рассказывал, что во время поста они с Лилею вообще ничего не ели по средам и пятницам, а Лиля прихватывала ещё и четверг. Я немедленно позавидовал и тоже решил попробовать.

Лизаньку искушали комары – по ночам, днём их не видно. Всё личико в красных точечках. Нас почти не кусают – невкусные. Утром Лиза опять говорила с Олечкою о бабушке: бабушка, мол, говорит, что Бога нет, а так говорить нехорошо, так говорить нельзя; просто Он за синим небушком и поэтому Его не видно.

А недели две назад, когда мы оставили Лизаньку бабушке на целое утро, Лиза потом нам сообщила, что был такой дядя Ленин, который за всех боролся... Я часто борюсь с Лизанькой, балуясь на диване, и поэтому она, серьёзно рассказывая, что вот, мол, был такой дядя, едва

дошла до того, что он «боролся», тут же закатилась смехом, замахала ручками и сбилась с урока, залепетала, давясь от смеха:

– Баовся!.. Как мы с отесинькой!.. Тохэ баавався!.. Вок дядя – бававник!

04.05.84

Утром мы с Лизанькою вдвоём ходили гулять на «речку Самарку»: маминька велела скормить рыбкам остатки пасхальных пиров (батюшка посоветовал). Потом мы бросали камешки в воду... Лиза разыгралась, не хотела уходить и, когда я всё же подхватил её на руки, она задёргалась, закричала:

– У, г'ахой какой!.. отесська!..

Обычно в таких случаях я снимал с неё штанишки, слегка сёк и ставил в угол, но тут – в солнечный день, на берегу реки, мне так не хотелось «строгих мер»!.. К тому же я прекрасно понимал её – такая живописная река, такой зелёный берег... Но и спускать такое «оскорбление величества» было нельзя, и я, перевернув Лизаньку на живот, глухо постучал ладонью по толстой попке в комбинезоне. Дошло – через минуту мы уже целовались, мирясь.

– Смотри, – сказал я, – какой крутой склон! Как бы нам на него взобраться? Сумеем?

– Сумеим! – задорно отвечала Лизанька и задёргала ножками, желая слезть с рук и показать мне, как «сумеет». Из любопытства я поставил её на землю, и на самый верх она взобралась сама (я чуть-чуть поддерживал её за плечики), поминутно останавливаясь и оглядываясь:

– Отесинька!.. Ну, стой!.. Ну, стой!.. Посмоки (посмотри) – о! как ухэ мы высяко заб'аись! (забрались)

Слушаем Моцарта; я печатаю на машинке (арх. Луку), Лиза – напротив, за моим столом. В паузу, поднимая головку от рисунка, говорит, прислушиваясь:

– Какой мег'енный (медленный) звук...

Мы с Лизой устраиваемся на диване – готовимся засыпать. Заботливая маминька приносит Лизаньке яблочко перед сном и стоит над нами, улыбаясь. Я рычу медведем и тянусь отнять яблоко, собираясь начать игру «в борьбу» за него. Но Лизанька неожиданно протягивает ручку с яблоком жадному медведю:

– На!

– «Возьми»! – мимоходом поправляю я её нормальным голосом.

– Возьми! – соглашается она, кивая.

Но я, рыча, отползаю назад и мотаю головой: яблоко должна съесть Лизанька.

– Эко мошно есть, – убеждающее говорит она, всё протягивая яблоко, – мошно! Эко не хывое (не живое), эко не ахатка (лошадка). Кухай, мегвег!

– Щедрая девочка! – смеётся Оля. – Откуси, медведь! Уж так и быть.

И рассказала мне, как попросила Лизаньку «нарисовать отесиньку»:

– С уговойствием, – ответила та и, очевидно, поймав звуковую ассоциацию, неожиданно продолжила. – Уговойственный магазин!..

Не могла никак запомнить, кто к нам приехал: «Да дядя Миша же!» – а через минут пять: «А ко эко?» – «Ну, – с досадою на несообразительность маленькой девочки говорю я, – как ты думаешь: кто это?» – помедлив, робко: «Дядя Саха?»

Что ты будешь делать.

Второй час пополуночи; сидим с Олечкою за моим письменным столом, под настольною лампою – пьём сок и разговариваем о церковном пении (не нравится – оперное). Вдруг в кровати завозилась Лизанька, заговорила непонятно:

– П'имим... п'ямим...

Я оглядываюсь: «Что такое?» Вижу – встаёт. Встревоженные, подбежали: что, Лизанька?

С полузакрытыми глазками, стоя на коленках, она прихлопывает одной ладошкой о другую, как «куличики печёт», и приговаривает:

– А во как!.. Во как!.. Во как я умею!..

– Правильно, – говорю я осторожно, – молодец, девочка!.. А теперь – ложись...

– А на подушечку? – добавляет встревоженная Оля. – На подушечку?

Лизанька, так и не открыв глаз, послушно ложится. Спит... Мы переглядываемся: что это было? Не узнать.

Вспоминаю, как она сегодня днём спала: уснула вместе с Олечкою, прижавшись к ней спинкой – как в сказке, положив ладошку под щёчку.

Ба! забыл совсем: была сегодня у нас Татьяна Ивановна, рассказала про слепенькую бабушку по соседству – слёзно, мол, молит: «Возьмите к себе!.. А ваша мама – молодая ещё – пусть у меня поживёт». Оля прямо загорелась: в доме будет не подозрительная блюстительница утопии, а простая жалобная бабушка! Трепеща, поговорила с матерью, и та – вот чудо! – согласилась.

05.05.84

Потеплело, и опять нагрянули комары. Лизаньку приходится сторожить.

Уже несколько дней подряд только я укладываю Лизу для дневного сна – с Олею она шалит и не слушается... Кстати, вот серьёзная метаморфоза: ещё прошлым летом я хватал Олю за руки, удерживал, чтобы она не наказывала маленькую девочку (ну, два года только! крошка! – так было жаль), и Лиза совершенно меня не почитала, и когда я отважился в первый раз поставить её в угол, она плаксиво кричала мне, мол, пусть её маминька в угол ставит, а не отесинька, «отесиньке низя наказывать Изю». Оля же была сурова и непреклонна; до того сурова, что у неё вырывались не совсем вежливые слова, до того неумолима, что я часто, почти всегда, хмурился, слушая её выговоры Лизаньке, и журил потом, выговаривал за тон: «Что за тон, Олечка?» – и ставил требование, чтобы голос был строг, оставаясь ласковым.

– Ладно, – покорно соглашалась Олечка. – Покажи, как это, и я буду...

Я пожимал плечами:

– Да я просто не успеваю к вашим разделкам!

Увы, всё переменилось... Я пью чай на кухне – гляжу в книгу, но прислушиваюсь. Из комнаты доносится утробный смех Лизаньки, увещевающий голос Олечки... Догадываюсь, что без меня дело не обойдётся. Так оно и есть: после шума, возни, смеха и визга Олечка выходит на кухню и говорит смущённо:

– Иди, отесинька... Маленькая девочка не слушается, балуется.

Я отставляю недопитую чашку, с шумом отодвигаю табурет и, стараясь ступать слышно и весомо, иду в комнату...

Навстречу с дивана мне мечется испуганное и растерянное личико Лизаньки. Спеша, стараясь опередить мой обвинительный тон, предупредить непоправимое, она лепечет:

– А я... а я... сяма ухэ... сяма ухэ... звава отесиньку... Я кибя ухэ звава...

Такая жалость (мне неприятно, что она так меня боится). Не моргнув глазом, я самым мягким голосом подхватываю предложенный вариант, будто и пришёл, потому что она меня позвала, и ничего грозного нет в моём приходе.

– Ах, так ты меня уже звала?

– Звава...

– Ну, вот и умница! Вот и молодец! Сама позвала отесиньку, чтобы уснуть. Ведь так, Лизанька?

– Га... – кивает она.

– Идём-ка, – беру её на руки и переносу в кроватку. – Вот так, моя хорошая. Теперь давай накроемся... вот... закрывай глазки... Всё, теперь спим!

Я вполголоса пою «Господи, помилуй» и «Богородицу», краем глаза слежу за Лизой. Она чуть-чуть ворочается с закрытыми глазками, ковыряет в носике. Я ей не мешаю – лишь бы уснула. И она засыпает через 8 минут.

...И вот опять пью чай, и опять слышу крики и возню в комнате, слышу голос Олечки:

– Ах, так! Что ж, пойду – скажу отесиньке...

И отчаянный вопль Лизы:

– Нек! не хади!.. Не гавай ему ничиво!

– А будешь послушной девочкой?

Оля стала такой мягкой и уступчивой – то ли роды приближаются, то ли я всё время дома и отучил её от «руководства»?

10.05.84

Два дня я снова работал в Покровском соборе: с Андреем Захаровичем, самым, пожалуй, симпатичным стариканом из церковных, мы ремонтируем крышу храма. Работа нудная и тяжёлая, под палящим солнцем на железной крыше. Зато высоко, и полгорода видно. Но сегодня он дежурит на воротах, и у меня – свободный день (в библиотеке давно не бывал).

С устройством пока ничего не выходит, всё время попадаются какие-то варианты, отнимают дни и ничем не оканчиваются. Вот теперь и Андрей Захарыч обещает устроить меня дворником на Самарской улице, рядом с храмом. Жду результатов, чиню крышу, деньги пока есть.

Неделю назад Машин Юра уехал к своим родителям в Среднюю Азию, вконец поругавшись с тётцей. Маша печальна, но матери оставлять не хочет – старенькая...

От Танечки посылка пришла и письмо грустное: «Я целый день вас вспоминаю, и всё мне плакать хочется, что не скоро ещё увидимся». Сообщает о Мише, о его впечатлениях от встречи с нами: «Миша говорит, что Олечка – тишина и чистота, а Володя – резкий в суждениях и раздражён. Вот уж не поверю про Володю, а про Олечку – точно. Про Лизаньку сказал, что она разбаловалась, а про маму вашу – покорная».

Вот что значит глядеть извне! Впрочем, Мишу можно понять – он привёз целую стопку рукописей: две повести, 6 рассказов и две статьи (400 стр.), и мы всё это тщательно обсудили. Мне понравилось немного, оригинальными показались три рассказа: «Пролог» – от лица двухлетнего младенца, «Охота» – от «лица» оленя, и «Василий» – от «морды» кота. Олечка с большим одобрением приняла его работу о Великом инквизиторе (что и говорить, неплохо! но это конспект Розанова).

Наташа купила своему Гене машину «Москвич». Мы и не подозревали, что у кого-то из наших знакомых могут быть такие деньги. Чудо какое-то.

– Лизанька, вынь пальчики изо рта! Разве ты медведь?

– Нек... А катяка (котята) вапки не сосут?

(Чаще всего она представляется Котёнком)

– Нет, конечно.

Вынимает пальчик, глядит на него, вздыхает. Поднимает глазки и говорит с убеждением в голосе:

– Нек! Койко (только) мегвеги!.. Вок как (вот так) засюнут вапку в 'ок (в рот) и посясываюк... (посасывают)

Вечером – прыгает на диване, не хочет надевать пижамку.

– Р-р-р, – говорю я, – где пижамка? дай-ка я надену!

В первом испуге Лизанька кидается к штанишкам, хватает их, прижимает к груди:

– Уходи, мегвег (медведь), – говорит сердито (сердится, что испугалась).

Но тут же в глазах вспыхивает любопытство:

– Не бойся, мегвег... вок, иди сюга... тебе хэ пижамка не погойдёт...

– Подойдёт, – рычу я.

Она примерочно вытягивает ручки и, склонив головку, как истый закройщик, примеряет пижамку ко мне:

– А гавай... (давай)... Гавай к нохам п'юихым (к ножкам приложим)... вихь, не пагхогик... (видишь, не подходит)

Я печатаю; Лиза стоит в углу, маминька над нею – скорбным памятником справедливости. Размазывая слёзы по щекам, маленькая девочка жалуется:

– Кага ты меня наказываеах, ты совсем не маминька! Не маминька, а звеухка!

14.05.84

Сижу за письменным столом, Лиза – напротив, увлечённо щёлкает ножницами. Я взглядываю:

– Лиза! Что ты делаешь? Это же хороший конвертик!

Она пугается – ножницы вздрагивают в ручках. Губки кривятся:

– Я хэ... у вас же много есь... я же...

Я уже досаую на свой невольный крик (подумаешь, конвертик!):

– Ну-ну, ничего... Ничего страшного, Лизанька. Но ты уж в следующий раз спроси прежде, можно ли. Хорошо?

Глаза её полны слёз, но она пока удерживается и кивает. И только когда я возвращаюсь к своим занятиям, слышу в кухне плачущий голосок:

– Маминька! Эко не бега (это не беда), шко я конвентик поезаа (порезала)?

Такая жалость! Бросаю всё, иду утешать. Оля меня встречает укоризною:

– Лиза жалуется, что с нею грубо разговариваешь.

– Ну, не грубо, – смущаюсь я, – резковато только... Нечаянно.

Этот месяц у меня неожиданно оказался излишне «детективным». Как-то я заехал в библиотеку за очередным томиком Шиллера, но застрял у полки с Kriminalroman'ами и набрал с собою – читать в автобусах и трамваях, на прогулках с Лизою. Что хорошо в таком запойном чтении – я в конце концов совершенно забываю, на каком языке читаю... И всё же нашлись две по-настоящему интересные книги: некоего Хорнунга, зятя Конан Дойля, по следам тестя писавшего в приключенческом жанре, только на материале своих путешествий по Австралии, и «Невероятные преступления» Питаваля (этот парижский юрист XVII века своими очерками породил двухсотлетнюю серию публикаций о процессах по чудовищным преступлениям; на Западе, оказывается, это известное имя, даже странно, что в нашей словесности о нём нет никаких упоминаний! Хотя...)

Ждут своей очереди ещё три детектива, среди них довольно изобретательные французы Буало и Нарсежак, но далее идут уже совсем почтенные авторы: Гессе, Джозеф Конрад, Натаниель Готорн и Фолкнер. На русском подобных книг мне просто не найти. Сейчас читаю «Ivanhoe» W.Scott'a.

И всё же русский список более почтенен: письма Хомякова, «Дневник писателя», «Лавка древностей», статьи Флоренского и монография о Меньшикове (не о публицисте, а о сподвижнике Петра).

Оля написала Танечке: «...В последнее время мне пришлось познакомиться с некоторыми бабушками, и невозможно было без слёз смотреть на чистоту и бескорыстие их; всё это идёт из той неведомой для нас и прекрасной жизни, и всё это уходит – и с чем остаёмся мы?

...Володя на постоянную работу ещё не устроился, но зато временно работает в храме. Уходит утром на весь день; устаёт, конечно, да и дни у нас стоят жаркие, до +30° в тени. Но ни одной его работой я не была так довольна, как этой. Общается он исключительно со стариками – такими благообразными, с длинными бородами. С завтрашнего дня будет искать постоянную работу; вероятнее всего, дворником.

Лиза тоже растёт и худеет. Вчера на прогулке я говорю Володе: «Что-то мне в деревню нашу захотелось...» А Лизанька подхватывает: «А мне что-то в Москву захотелось. Очень я Леночку полюбила».

Деревню мы вспоминаем часто и тоскуем – как там сейчас хорошо. Чугунов нам написал, что они уезжают туда на всё лето. Не поедете ли вы? Посмотрели бы Вареньку, прислали бы нам травки – нигде больше не растёт такой вкусный зверобой...»

20.05.84, Неделя о самаряныне

Чуть было не устроился в один ЖЭК, но передумал – участок далеко, а на работу выходить к 5-и часам утра.

Умерла одна из наших бывших соседок, Мария Петровна. От нас на похороны ходила только мать. Нас с Олей ничего с ними не связывало, а я и совсем – залётная птица.

Получил в храме 25 рублей – за дежурство на Преполование.

Оля:

«Перед сном сегодня Лизанька разговорилась. Впечатления дня, которые, казалось, прошли без внимания, всплывают, и она начинает размышлять.

– А потиму бабушка в х'ам не хогик?

– Она, Лизанька, Бога не знает. Когда была маленькая, ей никто молитв не пел, в храм не водил. Она и молиться не умеет.

Лизанька начинает перечислять молитвы, которые я ей пою: и «Х'истос воскрес», и «Взб'анной воевоге»... Потом говорит, пусть бы бабушка в храм пришла и увидела бы там Господа – «на потойке» (на потолке).

– Он кам наисован...

Я рассказывала ей, что батюшка – это живая икона Бога, и эта мысль ей очень понравилась.

– А мохно бабушке сказать, что батюшка – это Бог?

– Нет, Лизанька, это не Бог, как и икона не Бог, а образ Божий.

Иногда она говорит, что когда приходит в храм, то становится «котёночком» – это значит, что она становится очень ласковой и послушной девочкой.

– А хко батюшка пеед пичастием гаваит? (что батюшка перед пречастием говорит)

– Исповедание веры, – отвечаю я и читаю немного. – Верую, Господи, и исповедую...

– А паком... пос'е (после) пичастия нага тяху (чашу) цеовать... В х'аме так хаахо... (хорошо)

Вечером мы на подоконнике лепили фигурки из пластилина. Лизанька всё что-то говорила, а я, задумавшись, просто мяла в пальцах комочек.

– О тём кы загуалась? – вдруг наклонилась она ко мне с таким ласковым участием...»

И когда я взглянул на них, Лизанька осторожно гладила маминьку обеими ручками по щекам.

23.05.84

Жарко. Во весь день ни тучки.

На днях купили Лизе велосипед. Пару дней мне пришлось с нею побегать, но теперь она уже катается сама – не очень быстро и не совсем уверенно, но ездит.

Сидит на диване, выдумывает:

– А дядя Гена пиезжал на квую абоку?

Я с недоумением пожимаю плечами:

– Дядя Гена? На мою работу? Зачем?.. Нет, не приезжал.

– Пиезжал! – шаловливо говорит она. – Я видева!.. Сидик (сидит) в окне, на квоей абоке, и книхку чикаек (читает)...

И заливается смехом:

– Тохэ кваю книхку!

– У него, Лизанька, своя работа есть.

А ей ещё смешнее:

– А он... а он на кваю бегаек!.. (на твою бегаек)

Я коварно спрашиваю:

– А на твою, Лизанька?

По инерции она смеётся дальше:

– И на мою тохэ!..

И тут перестаёт смеяться, задумывается.

– Где ж твоя работа, душа моя?

Неуверенно говорит:

– В комнаке... У миня – в комнаке...

– С игрушками? – помогаю я.

– Га... – недоумение разрешено, и она оживает, снова начинает смеяться. – Ай га дядя Гена!.. И на кваю, и на ево, и на маю абоку бегаек!

Олечка нарядила её сегодня в бантики, и я целый день изумляюсь на маленькую девочку: в самом деле – девочка!

01.06.84

Уже три дня работаю дворником в жэу-19, но только сегодня занёс заявление начальнику, и он разводит руками:

– Могу засчитать только сегодняшней!

– Но я же работал! Целый участок убирал! Какая вам разница, каким числом заявление подписать?

– Не могу! Не положено.

Обидно.

Оля записала за Лизой: «Я во сне виху ахадку (лошадку) Ивухку... Я зак'ываю газа (глаза), и она скачит в темноке...»

04.06.84

«Руководство к духовной жизни» – удивительно: мне попало первое издание ответов св. Варсануфия на русском языке (Москва, в Университетской типографии, 1855-й год). Впервые книга была издана на Афоне монахом Никодимом в 1803-ем году «по единственной рукописи». Перевод (профессоров Московской духовной академии) хорош – плавная, гибкая речь, богатый и находчивый язык. Сам святой отец – египтянин по происхождению, но подвизался в Палестине – суров и непреклонен, древней стойкостью так и веет от его речей, но речи эти полны такой мерной трезвости, что невольно приходит на ум эпитет «божественная». Ясное впечатление от книги: эта душа озарялась Духом Святым.

«Но сперва обличу тебя: ты называешь себя грешным, а на деле не показываешь себя сознающим сие. Признающий себя грешником и виновником многих зол, никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается... Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего и обвиняешь его, будто чрез него приходит к тебе скорбь? Разве ты не знаешь, что всякий искушается собственным сознанием».

«О Боге св. отцы, будучи вопрошаемы, написали: ищи Господа, а не испытывай, где обитает Он».

«Что же касается до сильного отягощения твоего блудными помыслами: это случается от того, что думаешь о ближнем злое и осуждаешь его; бывает и от свободного обращения...»

«Брат! истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что» (надо бы: «вменяется ни во что»).

«...мы должны знать, что непрестанно призывать имя Божие есть врачевание, убивающее не только страсти, но и само действие их...»

«Не думай, чтобы диавол имел власть над кем-нибудь: причина греха заключается в нашей свободной воле... человек как не принуждается к спасению, так и ко греху...»

«Вопрос. Не грешно ли делать что-либо в день воскресный?»

Ответ. Делать что-либо во славу Божию не грешно, ибо Апостол сказал: „день и ночь делающе, да не отяготим кого” (1 Сол. 2, 9); делать же что-либо не по Богу, с презрением ко дню воскресному, по лихоимству и по видам низкого корыстолюбия – грех...»

05.06.84

Начало лета отметились небольшим похолоданием, с северным ветром, но сегодня был по-настоящему летний день. Я начинаю находить удовольствие в своей работе: встаю до восхода солнца; в восемь часов, в девятом уже иду домой, спать ложусь после заката; дни мои длинные и домашни – большей частью в общении с Лизанькой. Поэтому Оля совсем перестала влиять на маленькую девочку:

– Володюшка! А Лиза опять меня не слушается...

– Да? – грозно говорю я. – Кто там маминьку не слушается?..

Днём уже обязательно я укладываю её спать, а сегодня уложил и вечером; и так – всё чаще. И в библиотеку Олечка меня не отпускает (мать – дома, в отпуске, и уже три дня я хожу у Олечки в сторожах). Но сегодня я уговорил её на прогулку втроём – мы съездили в библиотеку, где я заказал на свой номер Страхова. Много, конечно, не начитаю – Оле скоро рожать (спаси, Господи, и помилуй).

Педагогическая беседа: сидят обе на диване, Олечка штопает, Лиза играла, но за горячим и острым разговором бросила игрушки и задорно смотрит на маминьку. Оля:

– А будешь непослушной девочкой, так мы с отесинькой уйдём от тебя.

- А я двейку зак'ою – чик!
 - Ну, так что ж. Мы через балкон уйдём.
 - А кам высоко!
 - А мы по лестнице спустимся. Вот, есть у меня такая лестница – верёвочная, привяжем к балкону и спустимся.
 - А шко эко акое (а что это такое)?
 - Лестница? Из верёвочек сплетённая.
 - А где? Шко-ко я не видева.
 - Спрятана лестница... Вот спустимся и уйдём куда-нибудь.
- Лиза молчит. Думает. И оживляется:
- Я тохэ куга-ко бы уехава...
- И, вспомнив, ликует:
- К девочке Сене!
- Это её выдуманная, сказочная подружка.
- К девочке Сене! – веселится, выпрямляясь, Лизанька. – Я знаю, в какой скаоне (стороне) она хывёт. Вон кам!..
- И она машет рукой на запад.

Во дворе. Болтик от велосипеда потерялся. Лиза хлопотливо присаживается на корточки возле виновато поникшего вело-ослёнка, трогает пальчиком гаечки, говорит:

- Потияйся хууп... (потерялся шуруп)... А экок? экок потиму не потияйся?

Я слушаю вполуха, гляжу, соображаю, как выйти из положения, бормочу:

- Почему?.. почему потерялся?.. Да кто его знает, Лизанька, почему...

Она снова обращает свой взгляд к велосипеду, вновь пальчики перебегают с гаечки на болтик, с болтика на гаечку:

- Кук к'епко захууп'ено (тут крепко зашуруплено), га?.. А кук... кук с'ябо (слабо), га?

Зовёт меня:

- Отесинька!

– Что?

- Иги сюга! На минуточку!

Зовёт Олю:

- Маминька! Иги сюга! Я кибе тиво скаху... (чего скажу)

– Хоть всё море перерой!.. – декламирует Олечка, одевая Лизаньку.

- Нек! – останавливает она маминьку. – Не всё мое...

– А что? – не понимает Оля.

- Всю земью...

10.06.84

«Борьба с Западом в нашей литературе» Страхова – я думал он проследит зачатки славнофильских идей в нашей словесности (а их от Ломоносова, Фонвизина, Шишкова можно немало насчитать), что ещё вообще никем не сделано, чаще просто прослежено пунктирно, но и Страхов этого не сделал. Он «пошёл от обратного» и разбирает идеи западников, оказавших наиболее заметное влияние на русские умы. Что ж, тоже интересно. Страховым я заинтересовался по Розанову и не разочарован. Ум не яркий, но сильный, стиль почти художественный – блестящий полемист, читать его – просто наслаждение. Удивителен, но и показатель тот факт, что ни его аналитика, ни сама его личность не вызвали в обществе должного внимания. Та же история, что и с Леонтьевым. Розанову понадобился «скандал», чтобы приобрести

читателей, и эпатаж, чтобы им заинтересовались. Страхова я полюбил (совершенно непонятна история с письмом о Достоевском – значит, была какая-то теневая сторона в личности этого «мирского монаха», которая лишь раз вырвалась наружу, и теперь никак не клеивается в тот образ философствующего отшельника, который прочно – может быть, ошибочно – сложился в моей голове).

«Мечтательность нашего времени грозит превзойти все увлечения былых времён... Нелепое, невежественное убеждение, что мы, теперешние люди, лучше, выше людей прошлых времён; нелепая убеждённость, что здесь, на земле, возможно какое-то благополучие, мирящееся со всеми противоречиями нашей судьбы и природы – эти мысли, свидетельствующие о крайней дикости наших умов и сердец, о том, что в нас заглохло истинное понимание и чутьё вещей – господствуют повсюду в наше просвещённое время».

«Может быть, нам /т. е. России/ суждено представить свету самые яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения; но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу...»

«Итак, есть случаи, есть положения, которые хуже всего, что обычно считается самым худым на свете – хуже греха и преступления. В грехе можно раскаяться, преступление искупается самым сознанием виновности, но мучиться самому и мучить других, не чувствуя себя ни в чём виноватым – вот горе самое тяжкое».

«Одно из самых дурных последствий демократии состоит в том, что общественное дело стало добычей особого класса политиканов, людей посредственных и ревнивых, естественным образом мало уважаемых толпою...»

О средневековом мирочувствии (мне кажется поразительно верным): «В настоящем состоянии общества преимущества, которые один человек имеет над другими, стали вещами исключительными и личными; наслаждаться удовольствием другого или благородством другого кажется дикостью; но не всегда так было. Когда Губбио или Ассизи глядел на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовал. Тогда все участвовали в жизни всех, бедный наслаждался богатством богатого, монах радостями мирянина, мирянин молитвами монаха; для всех существовали искусство, поэзия, религия».

В последнем утверждении, которое легко оспорить и просто осмеять, веет тот дух идеальной истины, который с трудом «выпаривается» из истории эпох, но который только и делает возможным трезвое и «художественное», образное и цельное восприятие отрезка исторического времени, недоступного уже непосредственному опыту.

«Революция окончательно стала противорелигиозною и безбожною. Общество, о котором она мечтала... есть род армии, состоящей из материалистов, в которой дисциплина заменяет добродетель... Зависть заключает в себе всю нравственную теорию этих мнимых основателей наших законов».

В другом месте движущими силами революции он называет жажду мести и наслаждение разрушением. И это было.

11.06.84

Не пошёл сегодня на работу: поднялся в половине 4-го – в сильный и складный шум дождя за окном, обрадовался, сел пить чай и читать Анненкова. Вчера письмо от Чугунова пришло – они перебираются в деревню всей семьёй.

Во дворе. Лизанька едет на велосипеде, поматывая своей русой растрёпанной головкой, я иду за нею. Вдруг она останавливается, задумчиво и внимательно смотрит на идущего навстречу мальчика, примерно её лет, и поднимает личико ко мне:

– А почему майчик не на висипеге?

- Нет, наверное, у него велосипеда.
- Почиму неку?
- Не купили, видимо.
- А почиму не купии? – этот вопрос она задаёт уже с нескрываемым лукавством: сама заметила бесконечное однообразие своих вопросов.
- Может, он плохо себя ведёт, не слушается – вот ему и не купили...
- Но моя малопедагогическая хитрость посрамляется – Лиза поправляет меня:
- Нек, он ухэ байхой, он ухэ с'юхает... (слушает)

Провинилась, но быстро и покорно просит прощения:

- Бугу с'юхаться...

Так быстро и так покорно, что я сам подыскиваю для неё оправдание:

- Ничего; ты ещё маленькая, ты ошиблась просто...

- А кы? – острый, внезапный вопрос.

- Я?.. Я тоже могу ошибаться...

Вероятно, это её совершенно устраивает, потому что она смеётся и сочиняет:

- Мы охыбаться мохэм, га?.. – и неожиданно продолжает. – В гугую кайейку (в другую тарелку) повохым, га?.. (положим)

Почему-то «ошибка» связалась у неё с перепутанными тарелками.

За столом, дерзким и вызывающим голосом:

- Хочу мяся!.. гай мне мяся!.. Мама!

«Мама», а не «маминька».

Оля строго:

- А что нужно ещё сказать?

Так же дерзко и вызывающе:

- Ничиги!

- Ничего – значит, и не будет ничего...

Тут личико внезапно меняется, с просительным выражением:

- Маминька, гай мне, похауста, мяся...

Бабушку иногда (и тоже не без вызова в нашу с Олей сторону) называет бабулей, прекрасно зная, что нами это не приветствуется. Я ничего против этого не предпринимаю – если это слово служит у неё элементом бунта, так пусть и свяжется навсегда с мятежом, с выпадением из нормы. Но мятежом не живут, он редок и кратковременен, возврат к норме неизбежен.

Пока Олечка обегала ближайшие магазины, мы с Лизанькою бродили в больничном скверике и кормили голубей застарелым печеньем. На обратном пути:

- А почиму нага к'охыть? (надо крошить)

- Потому что у голубей горлышки маленькие.

- А у миня?

- У тебя – большое.

- А почиму?

Я пожимаю плечами:

- Ты уже большая девочка...

И изображаю руками разницу между Лизой и голубем. Но ей этого мало.

- А почиму?..

Но от дальнейших вопросов меня избавляет новое событие. В небе слышится гул самолёта.

- Самаёк! – кричит Лизанька. – Где самаёк?

- Погоди, – говорю, – пока не вижу...
- Вон! вон! – кричит Лизанька и показывает ручкой.
- Мы с Олечкой удивляемся: какие глазки!
- А пачиму самаёк к'ыыхками не машет?
- Да уж не машет... Так он сделан.
- Пакамухка, – поучающе отвечает сама Лиза, – к'ыышки у него немахучие.
- Мы удивляемся:
- Верно!
- А у птичек – махучие!
- И, не выдерживая более академического тона, хохочет, подпрыгивает, кричит:
- Немахучие!.. немахучие!..

Кстати, по поводу «хохочет». Несколько раз уже, рассмеявшись очередному её удачному выражению, я слышал любопытствующее:

- А почиму кы хахочишь?

Откуда эта оказия, выяснить не можем (не читает же она мою тетрадку). Скорее всего, от бабушки (она же постоянно величает Лизаньку «девчоночкой», я раз мимоходом поправил на «девочку» – удивлённая бабушка разницы не поняла).

Вечером. День так и остался прохладным. Утром я читал, писал, играл с проснувшейся Лизою, печатал, слушал Рахманинова, спал – вместе с Лизанькою – после обеда, допечатал отрывок из Библии и начал «Последование к причащению». Вечером выходили с Лизанькою покататься на велосипеде, т. е. каталась она, а я для страховки бежал рядом ровной рысью, изредка подхватывая руль. Лиза стала ездить довольно быстро, и мы уже не довольствуемся окрестностями двора, а путешествуем далече.

Вот Олины записи:

- А почиму Гасьподь так схал (сжал) ручки?
- Потому что Он умер.
- А мы век (ведь) спим... как бугко (будто) умиаем... Койко (только) спим недойго... а умиать век тяхэо... (а умирать ведь тяжело)

- А почиму на гугом кестике (на другом крестике) у Госьпага учки не схаты? (ручки не сжаты)
- Ну, по разному Господа изображают...
- Кам Он ихё не умеи! (там Он ещё не умер)

14.06.84

Я проникаюсь всё большим уважением к той академической свободе, которую сохранили немцы в своём новом государстве – у них ничего не хранится под спудом... Прочитал «Волшебный замок» Тика (Johann Ludwig Tieck) – автор мне кажется лучшим писателем из «первого призыва» немецких романтиков (и не потому ли, что «был мало расположен к теоретическим исканиям», имея «яркое творческое дарование»?).

Дочитал вторую книгу Страхова, наиболее любопытными показались статьи о Дарвине и нигилизме:

«Учение Кювье /о постоянстве видов/ не было разрушено постепенными изысканиями, новыми фактами, новыми открытиями, уяснившими его несостоятельность. Оно пало вдруг, как падает мнение, которое держалось верою, а не научными основаниями. Факты не изменились, сведения наши не расширились; но появилось новое мнение, новая вера, и старое учение должно было уступить место...»

«Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием всё думаем, что история ведёт к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а вот она приведёт нас к крови и огню, к такой крови и к такому огню, каких мы ещё не видели...»

19.06.84

Из Олиных записей: «Лизанька перед сном просит:

– Гавай побесегуем немножко...

Но я уговариваю её закрыть глазки:

– Уже сумерки, душа моя...

– Ни день, ни ночь! – подхватывает она.

Хочешь – не хочешь, а беседа началась. Следует череда вопрошаний: а что означает слово «су»? может ли умереть Господь? что такое жизнь? – («Это трудно объяснить, Лизанька... самый большой дар Божий») – кто такая Ева?.. И в заключение: а давай учить немецкие слова? И с удовольствием повторяет за мною: die Frühling, die Sonne...»

23.06.84

Пасмурно, идёт дождь. А утро было таким солнечным!.. Это длится уже неделю – ежедневно нас посещают дожди.

Не поехал сегодня в библиотеку: Оля собирается ко всенощной... Я уже прочитал и третий томик «Борьбы с Западом», автобиографию Ап. Григорьева («Мои литературные и нравственные скитальчества») и приступил к «России и Европе». Между делом с удовольствием перелистал первую часть «Семейства Холмских» небезызвестного Бегичева; роман воронежского губернатора (вышел – разумеется, анонимно – в 1832 г.) имел успех и не маленький; на первых порах его хвалил Белинский, Толстой помнил его всю жизнь, но это уже явно беллетристика. Умелая, изящная, не лишённая занимательности... Впрочем, эти «картинки с натуры» безоговорочно признавались тогда близкими к действительности. А это немалый плюс.

Похоже, на Данилевском закончится мой летний библиотечный штурм. Ибо Олечка всё чаще намекает, что кончаются денежки, что надо где-то подзаработать. Страх, как не хочется искать ещё чего-нибудь! А там – роды... Спаси, Господи!

Оля написала письмо Саше: «...Володя работает дворником. Уходит из дома рано, в половине пятого, а в половине восьмого утра уже с нами. В городе, наверное, трудно придумать работу лучше этой.

Лизанька стала уже большой и, как Володя говорит, «обыкновенной» девочкой. Она часто огорчает нас непослушанием и вспыльчивостью. Особенно недоволен Володя, говорит, что видит в ней все свои дурные качества. Он почти каждый день ходит в библиотеку, читает своих любимых славянофилов. Я же читаю мало и только духовную литературу, ибо художественную не стало терпения читать. Сейчас заканчиваю большую книгу св. Варсануфия Великого «Руководство к духовной жизни». Книга удивительная, просветляющая ум и сердце. Иногда я прочитываю лишь несколько страниц – и уже чувствую полноту и таинственность жизни. Очень рекомендую тебе, Саша, читать св. Отцов. Эта же книга, св. Варсануфия, показывает удивительные глубины человеческой души, причины падений и болезней и средства к исцелению. Обязательно почитай, если попадётся в руки...»

За Лизанькой Оля записала: «Утром она капризничала, и я оставила её одну на кухне. Через некоторое время она позвала меня и, обиженно скривив губки, сказала, что уедет к девочке Сене, которая её пожалеет. Я ей ответила, что девочка Сена не будет жалеть такую капризную и нехорошую девочку.

– Нек, – возразила Лизанька, – пожаает... Тё хаохих жаеть? (что хороших жалеть?) Они и так хаохие...

А перед сном, любуясь ею, я тихонько воскликнула:

– Лизанька! И откуда ты взялась?

– Меня Гасьпог из хаоса созгав... (создал)

Дочитал сегодня «Христианские песнопения Пресвятей Царице Небесной, Приснодеве Марии Богородице» (М., 1892); удачных псалмов мало, но во всех выдержан строй и стиль знакомых мне и привычных для меня молитв. Например:

*Мати Божия, молю Тя усердно,
не остави мене без Твоя всесильныя помощи,
наипаче во время искушения,
когда аз, в суете мятущийся,
забываю о Боге
и спасении своем. Царице Небесная,
не остави мене Своим милостивым покровом
и в жизни сей, и при кончине моей.*

28.06.84

Думал сегодня причаститься; за час управился с работой на участке и приехал домой переодеться. Тут и был застигнут – Наташа с Геной приехали за мной, чтобы помог им прополоть картошку. Вот искушение. Поехал... Полдня кланялся в огороде.

А сейчас мы втроём – в виде прогулки – едем на вокзал: узнавать, когда приходит поезд из Москвы. К нам едет Володя Щукин! Вчера получили телеграмму от Танечки.

Гуляем. Лизанька подобрала длинную хворостину и возложила её себе на плечико:

– Отесинька! Пуськ у меня эко будет угочка (удочка)?

– Угу, – говорю я. – Пусть будет.

– А я на ыбалку! а я на ыбалку! – поёт она, маршируя.

Во мне просыпается любопытство:

– А что ты будешь делать на рыбалке?

– Ыбку ловить. Много ыбок ловить.

– А каких рыбок?

Глупый вопрос, но мне интересно, как она выпутается. И она, в самом деле, застревает:

– Какие па... па...

Неуверенно:

– Какие... папаться...

Молодец! Глагол всё-таки нашла. И я помогаю:

– Какие попадутся?

Она с облегчением подхватывает:

– Папагутся!

В трамвае:

– Отесинька, а мохно я сягу агна? (сяду одна)

Недавно я объяснял ей, что она маленькая, ездит без билета и поэтому ей одной сидеть нельзя.

– Одна?.. Почему одна?.. – рассеянно переспрашиваю я, считая монетки.

– Ну, в камвае хэ маво люгей (мало людей), а меська (места) много...

Дома – у бабушки гости. Большая, шуршащая тётя наклоняется к Лизаньке. Лиза поджимает губки – к чужим она относится настороженно – смотрит исподлобья.

– Ах, какой у Лизы велосипед! – ненатурально восхищается тётя.

Лизанька внимательно и недоверчиво созерцает этот восторг, забывчиво подносит пальчик к носику.

– Это кто же купил тебе такой велосипед?

– Мама... – неуверенно отвечает Лиза.

Восторг тётя не уменьшается:

– А ещё кто?

Лизанька молчит, царапает носик и вдруг говорит строго:

– И папа.

Мы с Олечкой переглядываемся: вот это новость!

– Отчего же? – волновалась позже Олечка. – Из каких соображений она назвала тебя «папой»?

– Слово, конечно, не запретное... Рано или поздно нам всё равно бы пришлось объяснить ей, что «маминька» и «отесинька» – это слова для домашнего употребления, а в общении с другими лучше употреблять расхожие, обычные слова... Но чтобы она сама так верно оценила ситуацию!.. Просто невероятно! Три года ребёнку... Попробуй расспросить её, когда перед сном разговаривать будете.

После дневного сна: садится в кроватке, с отрешённым взглядом царапает носик. Подхожу:

– Вот и Лизанька проснулась! Ну-с, что тебе снилось?

Поднимает ко мне серьёзные глазки, говорит значительно:

– Писнилось, шко мы к Госьпагу ушли... (ушли)

– Я тебе сделаю царевну, – говорит маминька, убегая на кухню, – сделаю, только вот покормлю тебя...

Олечка и вправду до сих пор кормит её из ложечки.

– Я сяма, – говорит ей вслед Лизанька, – сяма сдеваю... Я век (ведь) зынаю п'ек'ясно (прекрасно)... зынаю весь сек'ет... (секрет)

01.07.84

Мы с Лизою проспали обедню; Олечка уехала к ранней и поставила нам будильник на семь часов, а звонок завести забыла; так – мы с Лизанькой проснулись в восемь...

Щукин, оказывается, не приехал к нам, а заехал: приехал он на какой-то слёт КСП. Говорит, надо делать рекламу, ибо решил зарабатывать на жизнь концертами. Мы были слегка ошарашены новым Щукиным, какой-то он развинченный. И тон речей его нам не понравился: снисходительно цинический (мол, вы тут в своём уголке монашествуете, а нам, мирским людям, надо «вертеться»). В дороге он разрешил себе нарушить пост – в этом ничего страшного нет, наоборот – в порядке вещей, но демонстрирует он это с каким-то непонятным вызовом. На осторожные мои укоризны с непроницаемым видом отвечает уклончиво:

– Ну, что ж... такие уж мы грешные... Жизнь заставляет...

И только когда он стал петь свои волшебные песни, мы узнали в нашем столичном госте прежнего романтика и певца «русского лиризма»: Пушкин, Жуковский, Дельвиг, Баратынский... Не раз влажнели глаза у Олечки от тихого восторга.

Вчера утром он уехал на свой слёт.

Из сегодняшнего Апостола: «...яко скорбь терпение соделоваает, терпение же искусство, искусство ж упование, упование же не посрамит...»

03.07.84

Изрядно похолодало: ночью шёл дождь, а утром поднялся упорный ветер с севера. И всё же перед обедом мы вышли погулять – Лиза в комбинезоне, Оля в плаще, а я в курточке (ну, лето!)...

На улице Лизанька говорила не переставая. Гул машин и свист ветра мешали мне слушать её прихотливые реплики, я устал наклоняться и вслушиваться, перестал переспрашивать и отвечать – Лизанька не унималась. Изредка долетали до меня обрывки странных фраз:

– Б'истящая... очинь г'омко... паком бисько...

Оля завернула в булочную; мы зашли следом, и, переваливаясь через порог, Лиза громко оповестила:

– Х'ебный магазин!..

Дома. Купили для Лизы красной смородины. Оля помыла ягодки, поставила перед нею на стол (теперь Лизанька сидит за столом не на словарях, а на перевёрнутом горшочке).

– Какие к'асивые! – восхитилась маленькая девочка. – А я не замичала...

Попробовала:

– У-у, какие вкуснии!.. Поегем (поедем) в дивеню, а?

Бежит ко мне из кухни:

– Отесинька! Отесинька!

– Ну? Что? – важно отрываюсь я от дел.

– А кы поегишь (поедешь) с нами к девочке Сене?

– Отчего же? Поеду, если вы меня возьмёте.

– Возьмём!.. маминьку возьмём, кибя возьмём, лахадку (лошадку) возьмём и – поскачим по небу!

Крутнулась на одной ножке и, убегая уже:

– А мы с маминькою смеяться бугим!..

Слышу, на кухне радостно спрашивает у Оли:

– А смешно по небу скакать?

И бежит ко мне с этим же вопросом.

– Высоко и страшно, – шёпотом отвечаю я.

Убегает, и я слышу:

– А отесинька скажай, шко высоко и ск'ашно...

– Зато весело, – подсказывает маминька. Ей не нравится пугать маленькую девочку. И, прибежав, Лизанька с удовольствием, подпрыгивая, сообщает мне этот ответ. Я киваю, соглашаюсь и принимаюсь записывать эту сценку. Лиза подбегает к окну и кричит восторженно:

– Ах, какие свеклые облака пльвук!.. Видихь?

И я вспоминаю, как часто она поражённо останавливается на улице:

– А я виху, как облака пльвук!..

Идём с Лизой за молоком. Лизанька воробушком подпрыгивает рядом, держится за бидон. Вот, на ходу заглядывая мне в лицо, спрашивает:

– А хочишь, я кибе шко-ко аскаху? (расскажу)

– Расскажи, душа моя.

– Вок... – говорит она таинственно. – Койко (только) кы никаму ни аскахывай (не рассказы вай)... Вок. У девочки Сены есь такая п'ащадка (площадка)... где ихат (лежат) п'имеки... п'емеки...

– Предметы?

– Га!.. Вок. П'имеки, какие маеньким девочкам б'ать (брат) низзя...

И начинается длинная, уже до самого дома, история с бессвязным содержанием, где мелькают «баночка – не простая, а золотая», воробей – «ма-аенький! его к'охать (трогать) низзя» и тому подобное. Говорит, лепечет самозабвенно.

Спаси, Господи, и помилуй.

05.07.84

Оля записала: «Лизанька долго не засыпала. Уже почти затихнув, она вдруг снова открыла глазки и сказала:

– А я, кага газьки зак'ываю, виху Госьпага...

Я перекрестила её. А она совсем подняла головку и сказала:

– А почиму отесинька меня не б'агосвовив?

– Ну, спи, Лизанька!.. Потом благословит.

– Как хэ спать без б'агосвовения?

Я иду за отесинькой на кухню; возвращаемся вместе. Лизанька уже стоит в рубашечке, цепляясь за поручни кровати, и сонным голосом бормочет:

– Отесинька, б'агосвови меня на сон г'ядущий...»

Я обычно поправляю:

– «На сон грядущую...»

09.07.84

Два дня назад, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, Бог дал нам сына Ивана... Мы с Лизанькой уже навещали Олечку в больнице, и она прислала нам письмо:

«Милые мои, не знаю, смогу ли я рассказать о тех чудесных переживаниях, которые произошли вчера. Чудесное заключалось в том, что я чувствовала присутствие и благодатную помощь Пресвятой Богородицы, Которую я постоянно призывала. Это было так удивительно и не похоже на то, что происходило при первых родах, когда я переживала и Богооставленность, и смерть. Здесь же была преизбыточествующая жизнь, в самой ужасной боли была какая-то радость силы, игры и избытка. И потом я уже лежала и плакала от любви к Ней и всем сердцем переживала все те слова, которыми Она именуется на иконах и в молитвах. «Скоропослушница»...»

И я немного огорчилась, когда узнала, что вы сегодня не были в храме. Вы обязательно сходите. Может быть, в праздник, в четверг, на «Петра и Павла», если меня к тому времени не выпишут.

Ванечка очень сильно кричал, едва появился на свет. Он был единственный мальчик из шести родившихся в этот день детей – самый тяжёлый и самый длинный. Он мне показался розовым и блестящим, и у меня было очень горячее чувство к нему. Сейчас всё это как-то притушилось и померкло, вместе с моим восторженным состоянием.

Милые мои, я так о вас скучаю, и день сегодняшней без вас показался мне томителен...»

Тут заявили мы с Лизою, и Олечка не дописала, как ей было без нас, потому что вчера мы навестили её, наверное, раз шесть; боюсь, что даже мешали отдыхать.

Идём к маминьке в больницу. Лиза останавливается, присаживается на корточки:

– Чийвячок...
– Идём, идём!.. Лиза!
Она поднимается с неохотой, идёт, оглядываясь:
– Кам чийвячок разгавленный...
– Муравей, наверное.
– Нек, чийвячок... – и фантазирует. – Они гумали, шко эко гвоздик... Шко эко гвоздик кам лежит – на гашечке (на дощечке)... И маваточком (молоточком) поскучали: тюк-тюк...
Показывает кулачком.
– И разгавили муавья (раздавили муравья)... ой, ко есь чийвячка! – смеётся. – Я охыб-лась!

10.07.84, 2-ой час пополудни

Лизанька спит... Сама уснула. Сегодня я разбудил её в половине 6-го – у бабушки по графику тоже трудовой день, и мне ничего не оставалось, как взять Лизаньку с собою. Поэтому и вышел я на участок часом позже, но и то с трудом поднял маленькую девочку. Ох, и притомилась она сегодня, уже в 11-ом часу начала зевать и прикладываться, но надо было сходить к Олечке, и я ещё два часа тормозил её.

Два дня Олечка была весела и спокойна; сегодня выглянула к нам с лицом пасмурным и озабоченным: «Грудь начинает болеть...» Встаёт пугающий призрак того лета, когда она с грудною Лизанькою чуть ли не полтора месяца провела в бреду и с температурой. Спаси, Господи, и помилуй, и исцели рабу Твою Ольгу!

Вот что она писала нам вчера (сегодня, говорит, впечатление уже иное, более благообразное, младенческое):

«На Ванечку я смотрю с чувством некоторого страха. Лицо его совершенно старческое. И когда он открывает свои мутные глазки-щелочки, зрачки у него закатываются и останавливаются – смотрит только вверх. Вообще, вид младенца жутковат. Глядя на него, испытываешь такие неизведанные в нашей земной жизни чувства – ни жалости, ни теплоты, ни любви, ни красоты, ни милого – а, казалось бы, к кому, как не к этому беззащитному существу, испытывать всё это? Хочется скорее домой, чтобы разглядеть его вместе с вами. Они (младенцы)...»

И снова письмо не дописано. Со вчерашнего дня Оля уже кормит мальчика грудью, и её время в палате побежало быстрее... Вчера её навестили Маша с Юрою. Рассказывая Маше о визите Щукина, я в увлечении с прежней резкостью охарактеризовал его, и Маша вздохнула: «Совсем как мой Юра...» А между тем Щукин, прожив у нас неделю, уехал присмиривший, искренне благодарил меня за критику (у него по лицу видно, когда он лукавит) и всё сокрушался: как это, мол, со мною такое сделалось? И я, как будто опомнившись, остро, до спазм позавидовал ему: какая простота! какое добродушие! Не напрасно батюшки так привязываются к нему и прощают ему многое, как ребёнку. Дочитал Боратынского:

*...Ещё я бытия владею лучшей долей,
Я мыслю, чувствую: для духа нет оков;
То вопрошаю я предания веков,
Всемирных перемен читаю в них причины;
Наставлен давнею превратностью судьбины,
Учусь покорствовать судьбине я своей;
То занят свойствами и нравами людей,
Поступков их ищю прямые побужденья,
Вникаю в сердце их, слезю его движенья
И в сердце разуму отчёт стараюсь дать!*

11.07.84

Сегодня не пошёл на работу: не смог поднять Лизаньку. Да и самому спать хотелось. Не пошёл – благо, есть отговорка. Утром сходили с Лизой в магазин и к Олечке; она поговаривает, что завтра, может быть, выпишут... Я оглядываю комнату... Теперь и её, и жизнь нашу не представить без Лизаньки... И вот – последние дни этой, уже прежней, жизни; скоро всё переменится, целая эпоха уходит в прошлое... Мне жаль её, жаль милую девочку Лизаньку – отселе не ей одной наши заботы и хлопоты, радости и тревоги... Целая эпоха... Я вспоминаю: три года только... А уже из ангелоподобного существа выросла у нас (возле нас) маленькая, милая, упрямая и ласковая девочка. Без маминьки в эти дни она стала гораздо самостоятельнее, часто и подолгу играет одна, поёт, разговаривает, даже бранится с куклами...

14.07.84

Олю выписали в праздник. Одну. Ванечку увез ли в клиническую больницу с каким-то заражением... Олечка целыми днями с ним в больнице, домой приходит только переночевать.

Лиза заметно взрослеет в эти дни (сколько уж раз я писал эту фразу! и сколько мне её ещё писать!.. спаси, Господи, и сохрани). Иногда спрашивает не «почему?», а – «шко эко значит?» – А шко эко значит: шаг?

То есть, конечно, она произносит «хак»...

15.07.84, Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Оля приходит из больницы едва живая, так выматывается, устаёт. И всегда с сетованиями: уход в больнице из рук вон плох... С годами, всё чаще сталкиваясь с медицинскими учреждениями, я всё более убеждаюсь, что они в нашей стране созданы совершенно в библейском духе: грозное и милосердное дыхание Божие в этих безотрадных, гулких коридорах, как в Синайской пустыне. Голыми, бедными и больными предстоим мы там нищете духа и простоте горя... Ничто – ни искусства, ни гений общежительности, ни услужливый дух конкуренции не касался нашей медицины. Бесплатная, суровая, неумолимая, неисправимая... Грязь, холод, дерзость, наглость, полное пренебрежение, оставленность целиком на волю Божию... Нужно быть титаном духа, чтобы изнести оттуда плоды благие. Оля хочет забрать малыша.

Я возил нынче Лизаньку к причастию, да опоздал; батюшка Иоанн Филёв причастил её в крестильне. Из храма мы с Лизой заехали в пустую по-воскресному библиотеку... И мой дерзкий расчёт оправдался: с ребёнком на руках, как «с саблей наголо», я ворвался в ряды противника и опрокинул его – заведующая книгохранилищем не устояла. Я привёз Данилевского домой.

Вечером. Привезли Иванушку домой; на Олю похож; Лизанька едва увидела, тотчас и сказала: «На маминьку похохэ...» У Иванушки больны оба указательных пальчика – незаживающие ранки.

Приезжала Маша со своим семейством. Мы с Юрою выпили две бутылки болгарского вина, затем я долго гулял с Лизой... Так началось наше новое домашнее хозяйство.

После ужина Оля сама уложила Лизаньку («соскучилась»), а я в первый раз постирал Иванушкины пелёночки. С непривычки стирал тщательно и долго. Да-с, отвык, Олечка избаловала меня, превратив в «главу семейства»...

Кстати, перед сном бабушка предложила поставить Лизину кроватку в её комнату – очевидно, давно лелеемый план – но Оля отказалась. Жаль бабушку, но пока наша семья живёт «центростремительно». Лизу тоже соблазнила предполагаемая перемена, и она подняла было плач в защиту бабушкиного плана.

– Нельзя, – внушительно сказала маминька.

– Пачиму низзя?! – с упрёком плаксиво вскричала Лизанька.

– Как же ты спать там будешь? У бабушки? Там же иконок нету...

Лизанька задумалась; по её серьёзному и задумчивому личику медленно скатывались забытые крупные слезинки...

18.07.84

Вчера в первый раз искупали Иванушку. А сегодня он сам перевернулся в коляске на другой бочок. После купания и процедур он стал спокойнее, больше спит. Носик мой, ручки и ножки Олины.

Лиза играет со сломанной игрушечной трубой. Маминька наивно ошибается:

– Ты умеешь играть на трубе?

Лиза обижается:

– Эко не к'уба!.. Эко гикаа (гитара)!.. Во, пог'яди – у иё гахэ (даже) фомма гикаы...

Эта «форма гитары» поразила меня больше всего.

Олечка повязала Лизаньке бантик на макушке – больше нигде не держится... Оля скучает о маленькой девочке, но руки у неё редко до Лизы доходят.

– Макушка... – говорит Лизанька, пробуя слово и неуверенно показывая на ушко.

Данилевского читаю по 3–5 страниц, вечером, перед сном; собственно, уже засыпая. Книга удивительной ясности, без тени какой-либо идеологической демагогии, настоящей научной трезвости – что я считал практически невозможным в рассмотрении истории. Его политические выводы, может быть, далеко не бесспорны, но аксиомы – фундаментальны. Чуть ли с каждой страницей развеивался туман моих неясных интенций – всё, что горячо, но часто только «заявительно» и с вызовом, проговаривали Хомяков, Самарин, Достоевский и Леонтьев, а я принимал с таким же горячим «сочувствием», не зная, но чувствуя истину, теперь обретает форму знания – не только убеждения.

Оказывается, это довольно старая мысль, что исторический смысл мусульманства «состоит в отпоре, данном им стремлению германо-романского мира на Восток». Как и смысл Австрии – в обороне раздробленной Германии от французов и турок. Даже убеждение Александра III в том, что у России нет союзников, не есть его открытие – эту же мысль высказал чуть ли не на сто лет ранее граф РаSTOPчин: «России с прочими державами не должно иметь иных связей кроме торговых». И Павел начертал под этими словами: «Святая истина!»

Впрочем, мои выписки занимают уже 12 страниц мелким почерком...

19.07.84

Окрестили сегодня Иванушку. Принимал его от купели некий Вадим, один из вечных подработчиков в храме. Впрочем, батюшка сказал, что крёстными мы можем считать кого угодно... Гнойнички у Иванушки высыпали уже по всему телу. Оля иногда впадает в отчаяние, плачет, но это минутно – большей частью держится мужественно.

Дочитываю 1000-страничный том Арнима – «Die Erzählungen und Romane». Первые его, юношеские, рассказы показались мне романтически скучными, но уже «Der Wintergarten» вновь заставлял меня забывать, на каком языке я читаю. Похоже, гейдельбержцы первыми

из немецких романтиков научились бегло и занимательно рассказывать. Из рассказа о Изабелле Египетской узнал любопытную подробность (то ли фольклорную, то ли апокрифическую): согласно легенде, цыгане, жившие в Египте, не дали приюта Святому Семейству, когда Богородица с Иосифом Обручником и маленьким Иисусом бежали от Ирода, и с тех пор они обречены на вечные скитания. С изумлением натываясь на подобные легенды, невольно думаешь: а кто его знает, что случилось там, в этой непроницаемой мгле времён...

24.07.84

Жара немного спала, ночью прошёл дождь. Пару дней назад в первый раз вывезли Иванушку погулять, а теперь уже выставляем спать на лоджию. И спит. Иначе же кричит: если не ест и не спит – то кричит. Жалобно так – разевая ротик, и подбородочек дрожит.

Оля написала Танечке: «...на шестой день нас с ним перевели из роддома в клинику, потому что у Ванечки началась кожная болезнь – эпидермия. Я каждое утро уезжала к нему и возвращалась поздно вечером, в 11-ом часу. Так мы промучились 4 дня – гнойнички не заживали, он беспокоился очень, я думаю – от лекарств и уколов; какую-то «систему» ему делали. И всё очень таинственно, молча. Сёстры и врачи отмалчиваются, названия лекарств и причину назначения уколов не говорят. И самое угнетающее – всеобщая грубость и равнодушие.

На четвёртый день мы забрали Ванечку и теперь лечим его дома – поим святой водичкой, купаем в травке и марганце, и – слава Богу! – кажется, он выздоравливает.

...Чугунов тоже пишет нам из деревни, письма его очень хороши, от них веет покоем и тишиной. Он даже прислал нам посылку со зверобоем и вареньем. Мы с Лизанькой долго сидели над ящичком и всё не могли надышаться запахами „сеинького гомика”...

02.08.84

Собрание сочинений Аполлона Григорьева выходило в 1915 году небольшими выпусками; в библиотечном каталоге обозначены 14 выпусков; сколько было всего и весь ли Григорьев издан – неизвестно... Читаю взахлёб, как детектив. У него несколько витиеватый слог, и отсюда некоторая неясность выражений и не полная отчётливость впечатления. К нему самому можно отнести характеристику, данную им Хомякову: «Несмотря на самый светлый ум критический, широта его захвата временами впадает в нечто стихийное, в нечто такое, что, сказавшись, не исчерпывается и представляет громадные перспективы для разработки». С некоторыми частностями я не могу согласиться (Жорж Санд он называет «великим современным художником»), некоторые положения мне кажутся недоговоренными (о байронизме Лермонтова), но вообще – впечатление захватывающее. Перед глазами прямо встают обзорные картины и нашей, и европейской литературы, написанные с щедрой и искренней эмоциональностью. Кажется, Григорьев был первым, кто назвал поэзию Гейне поражённой «фальшивостью неисцелимую, возведённую в принцип».

С жадностью я набросился на заметки, посвящённые нашим историческим романистам, и сразу же посетовал на их краткость:

«Исторические романы, из которых самые лучшие Лажечниковские, представляли смесь самую странную немного правдивого со многим фальшивым». Вероятно, он имеет в виду романтические похождения героев в этих романах – но я не был бы так суров; скорее всего это ошибка словоупотребления, некоторая грубоватость или, скажем, неосторожность выражения; может быть, было вернее сказать «со многим условным»... Подобные тонкости тогда ещё не всем были свойственны.

Самыми смелыми Григорьев называет романы Полевого, и я был рад хотя бы с этой стороны услышать положительную оценку многоохлаянному Полевому – мне нравится гибкий и

богатый язык его прозы (с небольшой скидкой на общую романтическую велеречивость времени). Самыми добродушными называет наиболее пользовавшиеся успехом романы Загоскина – я с радостью соглашаюсь, жалея, что сам, чувствуя то же, не додумался до такого точного, хотя и не критического, эпитета.

Загоскин «был человек бесспорно даровитый и, как многие люди конца XVIII и начала XIX века, гораздо более замечательный, чем его произведения... У Загоскина, там, где он пишет без притязания на доктрину, есть вещи наивные, восхитительно милые, даже – что удивительно в особенности – человечески страстные... У него был и комический талант – небольших, конечно размеров – и добродушный юмор, и жар увлечения, и даже, пожалуй, своего рода поэтическая манера...»

05.08.84.

Уже не так жарко, часто идут дожди. Иванушке легче, но он ещё не совсем здоров... Такой большой мальчик. Глазки умные; уже следит взором за лицом, когда к нему наклоняешься.

Лизанька взрослеет по часам. Сегодня возил её к поздней обедне – причастилась. Спрашивает: «А п'ичастие вкусное?» – «Вкусное», – рассеянно отвечаю я. «А почиму?» – «..?»

Обедаем. До сих пор она охотнее ест, когда её кормят. С ложечки падает капля.

– Виноват! – говорю я.

– Эко гое (горе) не бега (не беда), а п'оско (просто) беззабазие (безобразие)! – выпевает Лизанька привычное присловье и спрашивает лукаво:

– П'овинийся (провинился)?

– Провинился, Лизанька, – соглашаюсь я.

– А я ни во шко не п'овиниась!

Спорит с маминькой – нахмуренно и упрямо:

– А мы с девачкой Накахой (Наташей) убехым!

Маминька строго:

– Я не разрешаю тебе убегать.

– А мы кибя обманем!

– Накажу.

– А девачку Накаху?

– У неё мама есть. Она её накажет.

Лиза задумывается.

– А я не бугу... не бугу обманывать... И Накахе... и девачке Накахиньке скаху: низя...

То ли зовёт, то ли дразнится:

– Атесинька! атесинька!

– Неправильно, Лиза. Надо говорить «отесинька».

– А потиму?

– От слова «о-тец», – объясняю я.

Но у неё готово своё объяснение:

– Раньхэ гаваии «отесинька», а кипей (теперь) гаваят «атесинька». Раньхэ пакамухко окаи (ока ли), а кипей скали (стали) акать...

Моет чашку под краном и похваливает себя:

– Какая удивительная помохница!

Или:

– Какая смехная искоия!.. (история)

Научилась говорить не «Ванюха», а «Ванюффа», «Ивануффка».

После купания Олечка обычно заворачивает её «индианкою», и она в простынке скачет на диване:

– Киндианка!.. Хочу киндианка!.. т. е. как индианка.

Ехала на велосипеде и вдруг затормозила (уже умеет), спрыгнула, села на корточки («на курточки»):

– Смоки, отесинька! Пуак!

Давно я так весело не смеялся, переспрашивая её. Она поняла, что неладно говорит, но, чтобы посмешить меня, повторяла, улыбаясь сама:

– Пуак!

На детской площадке, куда мы с Лизой вынесли Иванушку, молоденькие мамы стали приставать к Лизаньке, расспрашивали её о братце и игриво просили подарить его им. Лиза сурово отвечала своё знаменитое «нек». Я рассказал об этом Оле.

– Умница Лизанька! – сказала маминька.

Но тут Лизанька, пожав плечиками, сказала, что можно, дескать, и отдать, нам-де Бог ещё кого-нибудь пошлёт.

– Ну, как же, Лизанька? – расстроилась Оля. – Хорошо, если пошлёт... Но Иванушка нам ведь тоже нужен... А кого бы ты хотела?

– Майчика.

– Почему?

– А девочка у нас уже есть.

– Мальчик тоже есть – Иванушка.

– А мы век (ведь) его отдадим?

Мы засмеялись, а Лиза обиделась – губки задрожали, и она, гневно сверкнув глазками, сказала:

– Не бугу вам никага гавайть ничего!

За столом лепят с бабушкой что-то из пластилина. Лиза подаёт ей кусочек и говорит:

– Вок тебе иконка. Пуская (пустая). Ты век Госьпага не знаеж, поэтому тебе пуская иконка...

Ездили с нею в библиотеку (а ездим мы туда каждую неделю). Задержались, и Лизе давно пора спать. Идём домой, она не прыгает, не поёт – идёт молча, держась за мой палец. Вдруг начинает всхлипывать. Я останавливаюсь, как ужаленный. Наклоняюсь к ней:

– Что такое? Что случилось, Лизанька?

– Гаубок...

– Что «голубок»?

– Жай (жаль) гаубка...

– Почему жаль? Что с ним? Где он? – заозирался я. – Не вижу...

– Кам... на даоге (на дороге)...

Я бегу назад, думая найти раздавленную птицу, но вижу только подпрыгивающего в траве голубя. Он даже не хромотает, это просто птенец.

– Он ушёл – голубок, – говорю я Лизе. – Почему тебе было его жаль?

– Пакамушко он агин... Ему гусьно (грустно)...

13.08.84, вечером, в 9-ом часу (+22°)

Только что прошёл дождь; день был жаркий.

Возили в больницу Иванушку, он прибавил весе на 630 грамм; часто похож на моего брата Славу (даже Оле бросается в глаза), но чаще – на Лизаньку.

В субботу ездил в библиотеку – снова вместе с Лизанькой. Весь персонал очаровывается ею, хотя на любые знаки внимания она отвечает с недоверчивой настороженностью. Но под прикрытием этого очарования я уже как бы по праву беру домой книги из библиотечного святилища – из книгохранения. Мы туда всходим по какой-то «задней лестнице», идущей вдоль стен как будто бездонной бетонной «башни», хотя снаружи в этом удивительном строении (в одном крыле – художественная галерея, в другом – областная библиотека, посередине – оперный театр) не заметно никаких башен. Три или четыре крутых и длинных пролёта в тусклом полумраке – без окон и дверей...

Взяв книги (очередной выпуск Григорьева и 1-й том из собрания сочинений Плетнёва, изданного Императорской Академией Наук в 1885-ом году), мы много времени провели на площади перед театром, на которой разбили большой шатёр с игровыми автоматами. Дольше всего Лизанька каталась на самолётике... совсем уже взрослая девочка.

Вчера я решил на опыт – уложил её без всякого качанья (до сих пор мы укачивали её в кроватке и редко менее получаса). И сегодня Олечка – днём – повторила мой опыт. Кажется, удаётся. Вот бы ещё есть сама научилась...

При всей неглубокости критических штудий почтенного профессора, в них есть чему поучиться: безупречный вкус, ясность взгляда и чистота стиля редким образом соединились в этом поповиче, ставшим близким другом Пушкину и Дельвигу (и это уже говорит о многом). Кое-что я выписал; вот драгоценный эпизод о действии искусства на ещё невинные души наших предков: /в отличие от сочувствия публики озеровскому Эдипу/ «Так ли жарки эти слёзы, какие проливали мы в несчастный и славный для России год /Тильзитского мира/, когда представляли «Димитрия Донского», когда вдохновенная Семёнова произносила стихи сии:

*О милосердный Бог! Ты наш услышал глас;
Не до конца ещё прогневался на нас,
И русских осенил Ты силою своею! —*

когда незабвенный Кутузов, в набожном умилении, встал в своей ложе и, обливаясь слезами, крестился в виду всех восторженных зрителей? Вот торжество народной поэзии!»

В немецкой антологии средневекового рассказа мне открылась удивительная вещь – Minnedienst (обычно переводится как «рыцарское служение даме», но буквальный смысл этого слова «любовная служба») и её следствие – Liebeslohn (в словарях нет этого слова, но смысл ясен – «любовная плата»), которую требовали как должное, как исполнение заповеди, грех и позор были на той женщине, которая отказывала в Liebeslohn. Сей факт значительно корректирует мои представления об эпохе рыцарства.

Григорьева читаю запоем; в статье о «Переписке» Гоголя он неожиданно показался мне с романтической и даже с героической стороны; не потому ли он так небрежен по отношению к Достоевскому? не потому ли он так залихватски пишет: «Да лучше бы она была неверна мужу!» Что ж лучше-то? Уж эти мне идеалисты – лучше изменяй, но только чтоб «высшие взгляды». Холостяк – он не знает, что с «высшими взглядами» плачут так же горько и безотрадно, как и без всяких «взглядов».

15.08.84

Пасмурное утро, только что прошёл дождь (ночью была жестокая гроза). Иванушке уже несколько дней Оля даёт яблочный сок – по две капли. И воду он пьёт уже не из соски, а прямо из рюмочки.

Лиза играет в песочнице. Я с Иванушкой (в коляске) сижу поодаль, читаю. Слышу – зовёт. Поднимаю голову:

– Что, Лизанька?

– Иги сюга, похауска...

Захлопываю книгу, подхожу.

– Каск'юйка заск'яа (кастрюлька застряла), – говорит Лизанька, на секунду приподнимая голову от ямки, которую она роет двумя ручками, и, вновь опустив голову, продолжает выгребать песок. – Выкащи, похауска (вытащи, пожалуйста)...

Кастрюльку она засунула в банку. Я наклоняюсь.

– Аскаохно (осторожно), – бормочет Лиза, не поднимая головы, – кам водичка...

Верно – банка полна воды.

– Спасибо, – говорю я с удовольствием.

– Кибе спасибо...

Оля рассказала: раз, молясь перед сном, Лиза расшалилась. «В наказание, – сказала маминька, – будешь спать без молитвы». Маленькая девочка расплакалась: «Боюсь спать без молитвы».

18.08.84

Самый прохладный день в это лето – утром было +13°. Мы с Лизанькою съездили в «загс» и выписали на Иванушку свидетельство о рождении. Он у нас уже три дня носит крестик (Оля решила, что заочными восприемниками малыша будут Танечка Щукина и Володя Чугунов). А вчера я возил его и Олечку в храм – сорок дней...

Приезжал Михаил Павлович – его обычный летний визит к сёстрам. Позавчера он без предупреждения заявился к нам – я только собирался стирать. Тут же я позвонил Маше, она приехала с Катей, стало шумно и весело... Разъехались поздно, часов в десять. Толком поговорить не удалось. А сегодня он уже уехал; я едва успел к поезду – проводить. Вот тут, на шумном перроне, и пообщались. Этим летом он с женою был на Рижском взморье, нашёл там себе священника по душе – некоего Шенрока (внучатого племянника гоголеведа) – исповедался и причастился. Слава Богу. Мне показалось, что Михаил Павлович немного изменился – какой-то лёгкий стал (за прежним его артистизмом я всегда знал тяжёлую «нелегалыцину»)... более уверенный, что ли.

У Лизаньки вчера – после причастия! – был капризный день; вернее, полдня. Оля на неё разгневалась, но после дневного сна искушение отошло, и между ними воцарился нежный мир – весь вечер просидели вдвоём на диване, читая книжки (я мыл пол и стирал).

Иванушка уже пытается держать головку и издавать утробные звуки. «Разговаривает...» – говорит Оля.

Лиза листает басни Крылова:

– Смок'и!.. Мыхка!.. (мышка)... А у ниё... у ниё учки есь (у неё ручки есть)... как у чеавека...

24.08.84

«Жизнеописание в Бозе почившего Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия» (М., 1900) – эту книгу я разыскал у о. Иоанна; читал урывками, но с увлечением; мне вообще кажется необыкновенным для всего корпуса житий святых тип русской духовности, самый яркий представитель которого – конечно, преп. Серафим (правда, мне известны далеко не все

жития, но типы их, пожалуй, более или менее представимы: египетский, сирийский, палестинский... разве что греческий тип как-то более схож с нашим?). И Амвросий очень похож на него ласковостью и любвеобилием, отличаясь, впрочем, весьма оригинальной чертой... не знаю, как назвать – ироничностью? насмешливостью?.. Но это и не просто юмор, это – реакция на ползучую и неостановимую секуляризацию времени. В его шутках (он любил басни Крылова) как бы отражалась духовная трезвость верно мыслящего человека – время больше не искало спасения, время желало устроить свои дела и поправить здоровье...

Александр Михайлович Гренков был пострижен в монахи в 1840-ом году: «По церковному уставу, соблюдаемому в Оптиной пустыни, новопостриженные монахи пять дней проводят в храме Божиим безысходно. Там они и кушают, и спят, всё время – ни днём, ни ночью – не снимая с себя монашеской одежды и клобука с головы. На пятый день их опять причащают Животворящих Таин Христовых и отпускают по кельям».

В 1846 году, по болезни, был выведен за штат, начал старчествовать и быстро приобрёл известность. О Достоевском он сказал: «Это кающийся».

«Грешному человеку необходимо смиряться, иначе смирят его обстоятельства».

«Трудящемуся Бог посылает милость, а любящему утешение».

«Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь её иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твоё желание и старание и вложит в сердце твоё любовь».

«Три степени спасения. Сказано у св. Иоанна Златоуста: а) не грешить, б) согрешивши, каяться, в) кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби».

«Креста для человека (очистительных страданий) Бог не творит. И как ни тяжёл бывает у иного человека крест, который несёт он в жизни, а всё же дерево, из которого он сделан, всегда вырастает на почве его сердца».

«К службе церковной непременно должно ходить, а то болеть будешь».

«К началу ходить к службе – трезвеннее будешь».

Досадно было читать об устройении женских монастырей в то время – бедных и больных не принимали. Хотя им и вправду не монастыри бы нужны, а приюты.

30.08.84

В последнем томе «Сочинений» Плетнёва замечательны письма Жуковского. Старый холостяк, поэт-романтик, в 58 лет женился на 18-летней немочке с расстроенными нервами и только год наслаждался «семейным счастьем», о котором мечтал всю жизнь. Первая его любовь разыгралась нотами высокой трагедии в красках небесного лиризма, вторая познакомила со своей «земною тяготою» (если «резвенький сам набезит», то «на тихоньких Бог нанесёт»). Вот опыт 8 лет супружества:

«Крест мой не лёгок, иногда тяжёл до упада. Но наука жизни есть признание воли Божией – сперва просто признание, что она выше всего, и что мы здесь для покорности; потом смирение в признании, исключающее всякие толки ума или страждущего сердца, могущие привести к ропоту; потом покой в смирении и целительная доверенность; наконец, сладостное чувство благодарности за науку и живая любовь к Учителю и его строгому учению. Вот четыре класса, которые необходимо должны мы пройти в школе жизни. Я ещё в первом классе. Даст ли Бог время перейти в четвёртый – это в Его воле. А жизни утекло много и утекло в ребяческой беспечности...»

Только муза и дети, дочь и сын, скрашивали для него бремя этого не совсем удавшегося брака (который даже лишил его счастья жить на родине): «Первое воспитание, первые понятия детей принадлежат, как святейшее, не делимое ни с кем сокровище, отцу и матери. Кому можем мы уступить эту прелесть первого знакомства с первыми проявлениями душевной и мысленной жизни нашего младенца?..»

31.08.84.

По-прежнему прохладно; днём температура не поднимается выше +20°.

Иванушка уже отрывает головку от дивана. Олечка всё чаще наряжает его в ползунки. Так быстро растёт! Со 2-го числа будем получать питание с молочной кухни – молочка у Оли не хватает. От «Малютки» начался диатез.

Вчера Лизанька упала с велосипеда. Тут как раз мимо проезжал на большом велосипеде один из её дворовых приятелей – мальчик Андрей. И в падении задел её по лицу грязной педалью. Слава Богу, ущерб небольшой – несколько царапин на лбу и одна под глазиком. Но кричала отчаянно, аж сердце замирало. Я утащил её к Олечке. Едва уняв вопли, вынудили прикладывать намоченный платок к глазику. Лиза повеселела, я стал изображать неумелого доктора, прикладывая другой платочек то к другому глазу, то к ушку, то к носику... Она отмахнулась:

– Носик – шкобы гыхать (дышать)...

Вот её другие перлы: «Я выезаю туйпан... Гавай чем-нибук займёмся... Ннавится и всё!..»

За столом, внезапно положив ложку и уставясь в стену:

– Бабушка Госыпада не знает... А сама гаваит: Господи!

Мы переглядываемся и вопросительно смотрим на неё.

– Значит, она Госыпада знает! И ум'ёт с Госыпадом, – говорит она, широко раскрыв глазки и покачивая головой в знак удивления.

– А мы-ко гумали, шко она ум'ёт без Госыпада! – рассмеявшись, заканчивает Лиза своё расследование.

И уже перед сном – погасили свет, и в темноте вдвоём слушали Генделя (Лиза – со своим светящимся утюжком). Но Олечка нарушила наше уединение – пришла бить комаров и включила свет. Тут мы разговорились.

– А у экого дяди есь детки? – спросила Лизанька, разглядывая фотографию пианиста на конверте от пластинки.

– Есть, наверное, – бездумно ответил я.

– А у ково неку деток?

Я насторожился, догадываясь, в чём дело, но сказал:

– Не знаю... А у кого нет?

Она зашевелила губками, пробуя то ли выговорить, то ли вспомнить слово; мне почудилось «мо», «ма», но слова она так и не произнесла. Сказала:

– Не помню...

– Так поди, узнай у маминьки.

Это, очевидно, из репертуара их познавательных бесед.

Спрыгнула, умчалась на кухню. Прибежала, победно крича:

– У маняхов!.. (у монахов)... У маняхов неку деток!.. Они сами – дети!..

И остановилась возле, прямо глядя мне в глаза:

Тут взгляд её упал на медведя, который лежал рядом со мной в ожидании Лизаньки:

– А мегвеги – нахы дети, га?

Я рассмеялся от восторга:

– Беги, расскажи маминьке про медведей!

Понимающе просияв, она крутнулась на кухню.

09.09.84

Мы с Лизанькой ездили к поздней обедне; маленькая девочка причастилась; вела себя в храме хорошо, даже чересчур. «А почему тётя без платочка?» – спросила у меня громким шёпотом, кивая на женщину, стоявшую рядом. И даже повернулась к ней лицом, разглядывая в упор. Та, по всему, сопровождала на службу старенькую бабушку, сидевшую тут же на раскладном стульчике. Я смущённо взял Лизаньку за плечики и развернул лицом к алтарю, но она всё оборачивалась, во все глаза рассматривая соседку. Женщина не выдержала и, слегка наклонясь, сказала Лизаньке: «И я сейчас надену». И в самом деле развязала с шеи тёмный платочек и повязала на голову. Повернувшись ко мне, Лизанька задорно улыбнулась: «Вок...»

Иванушка вырос на 7 сантиметров; уже держит головку по две-три секунды и поболее – когда кладём его животиком на диван; диатез не уменьшается; глазки стали внимательными – следит за нами; иногда улыбается, но редко; спит в последние дни с утра до вечера на лоджии.

Вот уже два месяца мы с Лизанькой почти каждую субботу ездим в библиотеку. У неё там уже есть свои уголки и места, свои привычки и приёмы. В фойе, например, она обязательно прокатится «как по льду», сама сдаёт мою сумку в гардероб, в читальном зале, через который мы проходим на кафедру выдачи книг, обязательно, не обращая внимания на публику, пробежится во весь дух по дорожке. А в помещении кафедры есть тумбочка, в которой живёт волк (я однажды обмолвился через плечо на её осторожный вопрос «шко кам?»), но этого волка Лизанька не боится, потому что он ест только Красных Шапочек... А когда мы ездим в «маленькую библиотеку», т. е. в абонемент «на Мичурина», то приезжаем в настоящую сказку – в бассейне на площади перед библиотекою живут две рыбки, золотая и простая, и первая вторую научила говорить...

Бабушка подарила ей кошелёк, а у неё уже был мой, старый:

– У бабушки куго (туго) зак'ывается. У меня пос'ябее... У бабушки куго-куго, гахэ (даже) я не могу ос'ябить.

Играем в лошадки; Лизанька кричит, размахивая пояском:

– Погоняшка!

– Почему «погоняшка»?

– Кы хэ у нас лохадка!.. Я хэ кибя погоняю!

Я пишу за столом; Лиза стоит на коленках перед диваном, на котором разложены её игрушки, завёртывает кого-то в платочек, поёт:

– Никага ни бугу я... бальхой беёзкой... я... Никага не выастет (вырастет), никага... ни я (последнее «ни я» добавлено явно из чувства метра)... И зимой, и леком... И цвекы киваюк... Никага не выастет яблонька моя! – и добавляет прозою. – Покамухко койко (только) Господь созгаёк... (создаёт)

– Погоди, – прошу я, – запишу...

– И чисво (число) запихы.

Играет в стрекозу и строит себе домик на диване. Бормочет:

– Шкобы зима в глаза не катила...

Занимается с игрушечной собачкой, тихонько напевает:

– ... обнимать, целовать!.. И родился у собачки грук (друг) – ухастенький, глазастенький... шко ж ты, милый грук, так долго к нам не приходил?

Между выпусками Григорьева я проштудировал не менее интересные книги: «Записки о моей жизни» Греча и «Теорию поэзии» Шевырёва. Особенно последнюю я читал с крайним

увлечением – такого обзора, написанного живым, хотя и несколько старомодным слогом (что, скорее, служит к украшению труда), мне не попадалось; современные пиитики уж больно суховаты. Но и одиозный Греч не разочаровал меня; более того, теперь я склонен считать, что и он «пал, оклеветанный молвой» – репутация этого литературного труженика явно напрасно считается замаранной, заслуги же его, может быть, и не так велики, но несомненны и доброкачественны. Для характеристики его прозы, весьма мне понравившейся чистотою и верностью языка, лучше всего подходят слова Белинского:

«Что нужды, если в романе нет творчества, но есть вымысел, занимательность; нет фантазии – есть воображение; нет глубоких идей – есть верные практические замечания о жизни, плод опытности и знакомства с жизнью не по одним книгам; нет огня поэзии – есть теплота чувства; нет вдохновения – есть одушевление; нет образов – есть портреты; нет художественности в обработке – есть слог, язык? Что нужды, что это произведение не вековое, не бессмертное? – автор и не имел на это претензии: он хотел доставить своим современникам средство к благородному или полезному развлечению – и достиг своей цели».

17.09.84

Третий день дождь... Я принёс из магазина пряники – «медвежьи»; пока развязывал мешочек, Лизанька пощупала пряники и сказала:

- Послухай, какую искорию я сочинила: «пряни-чки» – «толстя-чки»!
- В комнате заплакал Иванушка.
- Послухай, я ищё искорию сочинила: маленький братик, ухастик, глазастик!..

Пару дней назад ходили с нею на молочную кухню – за питанием для Иванушки. Идём мимо гостиницы «Молодёжной».

- А эко к'умба?
- Да, Лизанька, клумба.
- А почиму «к'умба»?
- Это нерусское слово, Лизанька.

Она думает:

- Ак слова «к'уг»? (круг)
- Любопытно! – смеюсь я.

Лизанька вдохновляется:

– Эко всё хэ понякно... Понякно сочиняется... Шко не посмок'ишь, всё одно и тохэ...
– Ну, не совсем. «Клумба» – слово английское. Но в немецком языке есть похожее слово: «Klump», то есть «куча». Видишь, на площади насыпана куча земли, а на ней растут цветы. Вот тебе и клумба.

И было ещё: я стирал пелёнки в ванной, Оля в нашей комнате кормила Иванушку (он весит уже 5.600); Лизанька с бабушкой ужинали... И вдруг с изумлением слышу гневный вскрик:

- А кы хэ п'охо хывёх!.. (а ты же плохо живёшь)
- Почему же я плохо живу? – в бабушкином голосе слышалась лёгкая обида.
- Кы хэ Господа не знаех? Нек?..
- Ну, и что же. Я же Его не видела – как же я могу Его знать?
- Покамушко Его все долхны любить!.. А кибе, кага кы ум'ёшь, ст'ахно бугик... (страшно будет)

Она говорила с такой страстью, что я немного испугался за бабушку. А бабушка... Она теперь уже и не знает, что отвечать маленькой девочке.

– Пойгём, – сказала Лизанька, вся пылая, – пойгём в кваю комнаку, я кибе про Господа расскаху...

Прочитав эту запись, Олечка дописала: «Как-то Лизанька залезла под стол, села там, развернула маленькую книжечку и стала „молиться”. Бабушка сидела на диване с Иванушкой на руках.

– Молись со мною, – предложила Лизанька.

Бабушка отказалась.

– Не будех? – угрожающе спросила Лизанька. – Вот ум’ёх, кибе бугик очень п’охо».

19.09.84

«Усыпляю» Лизаньку – сидя за письменным столом, подтащил к себе кроватку, куда время от времени бросаю строгие взгляды. Лизанька лежит на спинке, лениво закрывает и открывает глазки, вздыхает, шевелится; прищутив глазки (чтобы я думал, что они закрыты), играет ручками перед личиком; иногда принимается что-то горячо шептать. Но всё тише шёпот, всё невольней движения, личико разглаживается, глазкам уже не под силу открыться... И я, тоже шёпотом, говорю: «Положи ручки...» Вздыхнув, она роняет их себе на грудь и – спит.

Сегодня она сказала:

– Чевавек хэ нес’егобный!.. (человек же несъедобный)

На прогулке:

– Мегвег? А, мегвег? – зовёт меня Лизань ка. – Ты почиму так биско (быстро) игёшь? Ты же мегвег! Иги вахно, мегленно...

Я иду важно, медленно.

– Ну, вок так!.. И я, медвехонок, тохе игу вахно и мегленно.

– А луну мохно скухать?

– Как же ты её достанешь?

– Мохно лесенку сделать.

– Хм. А как её сделать?

– Взять гве палочки, пеек’адинку п’ик’епить... (перекладинку прикрепить)... и топ-топ на небухко... Луна хэ не гоаячая?

– Ннет...

– А солныхко?

– Солнышко горячее.

– А я его съем!

– Так обожжешься!

– Нек, я хэ его оскудю... Погую (подую): фу-фу...

– Ловко. Но надо опять лесенку делать.

– Нек, ук’ом (утром) солныхко хэ низко, его мохно – хватать!

Бабушка делает Лизе салат и всё время говорит «помидорка».

– Помидой, – поправляет Лизанька.

– Ну, помидор, – соглашается бабушка.

– Ты азве не знаех, как нада гавайть?

– Знать-то знаю, да я старенькая – забываю...

– А ты не забывай! Гавай п’авийно.

Я погружён в «Историю Русской Словесности» Шевырёва; теории тут немного, зато даже известные факты освещены с непривычной и любопытной стороны – русского человека, кото-

рый даже и не подозревает, что у него могут быть две родины; я не могу избавиться от чувства зависти к тем людям, к их уверенности в бытии своей земли...

У Григорьева вычитал, что немецкий национализм (уже с языческим, «нацистским», уклоном) родился на полстолетия раньше, чем я предполагал: «Клопшток и его друзья возобновляли клятвы древних германцев перед Ирминовым дубом...» Конечно, это было только зерно, которое начало прозябать лишь с 1805 года, когда немцы внезапно стали французами (как Гейне, например), а в 1819 году дало первый цвет, бледность которого тут же окрасилась кровью и ознаменовалась ненавистью к России.

21.09.84.

Только что пришли с прогулки. Во дворе встретили бабушку, и, пока я заносил её сумки, Лиза с бабушкой провела очередную воспитательную беседу. Возвращаюсь – бабушка смеётся:
– Слышь, Володя, что Лиза говорит?.. Не плюй на землю, говорит, она священная.

Пока не стемнело, каталась на велосипеде и сочинила песню:

*Не упасть! Не упасть!
Под махыцу не попасть!*

Я было поправил:

*Как бы Лизе не упасть,
Под машинцу не попасть!*

– Нек! – закричала она. – Не так!

*Шкобы, шкобы не упасть,
Под махыцу не попасть!*

Стемнело. Велосипед я занёс домой.

– Погуляем, Лизанька, ещё?

– Га!

– Куда же пойдём?

– В тёмный ес (лес), где мегведи...

Это значит – на площадку в соседнем дворе.

– Кам полянка есь, – сочиняет она по дороге, – кам цветы асук (растут) и ягоги...

– Ну, ягод-то, пожалуй, уже нет...

– Нек, кам есь! кам есь!

– Так осень же уже, Лизанька!

– А кам – леко (лето)!

– Что за странная такая полянка? Везде осень, а там – лето...

– А знаех, почиму кам леко? Знаех?

– Н-нет...

– Покамухко кам – юг! – выпаливает она.

Возвращаемся. Жалобно:

– На учки...

Я вздыхаю, но подхватываю её:

– Ты уже такая большая девочка, Лизанька, а всё просишься на ручки. Объясни мне, отчего тебе так нравится «на ручках»?

Она устраивается поудобнее, обнимает меня за шею:

– Пакамухко я кибя (тебя) на учках госкаю (достаю)... Я кибя пакамухко очинь поюбила...

– Когда же это ты успела?

– Сиводня...

– А вчера?

– И вчера тохэ, навейно, поюбила...

24.09.84

Дочитал Кафку на немецком и очередную статью Григорьева (о Толстом). Все три романа Кафки неокончены; давно я так не скучал, читая немецкий текст. По истолкованию Брода, в «Процессе» и «Замке» представлены две формы Божества, т. е. две формы Его явления миру – Суд и Милость («в смысле Каббалы»). Возможно. Но мистика оккультизма, по своей выдуманности, может быть, и имеет какое-то значение для изучения степеней помрачения личности, но для творчества – это мертвящее дыхание распада. Поразительна подробность бессмысленных монологов, их механическая занимательность. Эффект некоего впечатления (странности? кошмара? наваждения?) достигается соединением полной абсурдности происходящего с суховатой простотой и обыденностью языка, вплоть до канцелярской незаинтересованности. Эффект есть. Несомненно. Но это не литература, это – диагноз. Эти «писания» можно закончить в любом месте, или продолжить до бесконечности – эффект будет тот же. Можно было бы назвать такие «письменные упражнения» игрою, подобно забавам декадентов, но все игры кончаются за порогом больничной палаты, в которой мечется умирающий.

Зато подобно живой воде показалась мне после Кафки статья Григорьева, не менее неистового, чем пресловутый Виссарион... нет, скорее, страстно сдержанного... или нет: пишущего с едва удерживаемой страстью (почему-то Григорьев мне всегда представляется взлохмаченным, в распахнутом длиннополом пальто, с полуразвязавшимся галстуком).

«В стремлении к идеалу или на пути духовного совершенствования /вот! – стремление и путь русской словесности!/ всякого стремящегося ожидают два подводных камня: отчаяние от сознания своего собственного несовершенства, из которого есть ещё выход, и неправильное, не прямое отношение к своему несовершенству, которое почти совсем безвыходно. Что человеку неприятно и тяжело сознавать свои слабые стороны, это, конечно, не подлежит ни малейшему сомнению; задача здесь заключается преимущественно в том, чтобы к этим слабым сторонам своим отнестись с полной, беспощадной справедливостью. Самое обыкновенное искушение в этом случае – уменьшить в собственных глазах свои недостатки. Но есть искушение несравненно более тонкое и опасное, именно – преувеличить свои слабости до той степени, на которой оне получают известную значимость и, пожалуй, даже, по извращённым понятиям современного человека, величавость и обаятельность зла».

26.09.84

Иванушка весь покрывается сыпью; сегодня понесём в больницу – что это? может быть, тот же диатез, что пышно расцвёл на его щёчках, когда мы стали подкармливать его смесью «Малыш»? Уже месяц мы получаем кефир и творожок с детской кухни, и диатезные пятнышки стали вроде исчезать.

Лиза удивляет меня своим словарём... Идём с нею от автобусной станции; в прошлый раз, проходя тут же, она заметила в стороне от дорожки пластмассовую голову от игрушечного крокодила, остановилась и спросила: «А почему он грусный? Его выбросили, га?» – на этот раз она пытается:

- А где крокодил? Мохэк, его забрали?
 - Не знаю, Лизанька. Может быть.
 - А мохэк его спрякали?
 - Где же?
 - А вон за кой кочкой валяется, га?
- Тут мне удивительны и «кочка», и «валяется».

В библиотеке. Торопясь, я усаживаю её за стол в коридоре:

- Вот, посиди тут, порисуй...

Усаживаясь, она расстёгивает свою сумочку, в которой толстой стопкой лежат чистые с одной стороны каталожные карточки, и раскладывает их на столе.

Время от времени я выглядываю к ней из зала – жду библиографа из генерального каталога – сидит, сложив ручки на своих бумажках.

- Что же ты, Лизанька? Рисуй! Я сейчас приду.

Смотрит своими круглыми глазками и отвечает важно и уклончиво:

- Вот кага ты пайгёшь в тот отдел (!), я наисую...

На улице. Мимо проходит маленький мальчик с мамою.

- Смоки!.. Мальчик!.. И хапочку набекрень!.. (!)

Не договорила, рассмеялась.

Возвращаемся из библиотеки. Лизанька устала, и я отвлекаю её: поджимаю ногу, прыгаю на одной:

- Ой, ножка болит! Не могу идти!

Лизанька смеётся, тоже поджимает ножку, пытается прыгать за мной. Сразу забыла, что уже просилась «на ручки», начинала капризничать.

– А у меня уже не болит, – говорю я, наскучив медленным продвижением. – Я могу и быстро ходить. Вот так!

- А я кохэ! а я кохэ!

– Ну, нет, – подбадриваю я, – у тебя ещё болит, ты не можешь быстро ходить.

- Могу! могу! Смок`и – во как! во как!

Почти бежим, смеёмся. На ходу – краем глаза вижу, как мелькают её сапожки; шучу:

- У тебя, наверное, ещё болит. Смотри, вон какие у тебя ножки красные!

Ошибка! Она останавливается, наклоняется:

- Эко хэ не ношки! эко хэ сапошки!..

- Так не болит?

- Нек! А у кибя?

- А у меня и не болела!

- А у каво?

- У медведя болела. Это он так медленно ходит.

- Га! Он косяпый. А мы бисько!

- Почему мы быстро?

- Мы хэ чеавек (человек).

- Кто? – наклоняюсь я к ней, чтобы лучше расслышать окончание.

Она догадывается, что что-то не так.

- Чеавек... – говорит потише.
- Кто – человек?
- Ещё тише:
- Мы...
- Я смеюсь:
- Человеки мы!
- Чеавеки! – она довольно смеётся и тут же добавляет, шая: – Чийвяки!
- Ну, уж извини. У червяка нет ножек.
- Еськ.
- Что-то я не видел.
- Я вигела.
- Ну, и где же ножки у червяка?
- Он их п'ячет.
- Куда?
- Внукь (внутри)...
- Я вновь смеюсь. Лиза пытается меня убедить:
- А паком ходит... вок так... – она растопыривает ножки, идёт вразвалочку.
- И поражает меня:
- Раскопыривает ножки и игёт (растопыривает ножки и идёт).
- Откуда у неё взялось слово «растопыривает»?

27.09.84, Воздвижение

Мы с Иванушкой одни дома – Олечка с Лизанькою ушли в больницу на прививку, мать уехала по делам. Иванушка уснул было, но тут же заплакал... Я передел его в ползунки, подкатил коляску к столу, и теперь он лежит в ней, таращится в потолок, дёргает ножками и машет ручками, иногда с усилием выворачивает голову, словно хочет посмотреть «а что там у него под головкой?», и гукает...

Вчера был хлопотливый день: возили в больницу Иванушку; сыпь объяснилась – обострился диатез, как мы и предполагали. Ездили ко всеобщей; в храме встретили Анастасию Антоновну, от неё узнали, что батюшка был в отпуске (а то мы его совсем потеряли). Вечером я умирал от желания поспать (ложусь поздно, встаю ни свет, ни заря), но пока укладывали Лизаньку, пока попили чаю на кухне, а потом я ещё стирал – пошёл уже первый час... И тут же проснулся Иванушка. Ночь была ужасна. Он кричал часа два, пока его не выкупали и не смазали. А потом я ещё целый час возился с Лизанькою, которую Иваша разбудил. И сегодня на работу я встал в семь, вместо пяти.

Что-то Иванушка скорее засучил ножками, и гуканье его переходит в покрикиванье. Надо посмотреть.

30.09.84, около 3-х часов пополудни

Усыплю Лизаньку – как всегда в последнее время: подкатываю кроватку к столу и, время от времени поглядывая в неё, шёпотом усмиряю маленькую девочку: «Глазки закрой!.. Ручки убери!.. Ротик закрой!.. Глазки!..»

С погодою странно дело обстоит: после тёплых по-осеннему дней вдруг пришли тёплые по-летнему; вчера к вечеру было даже жарко; и ветер тёплый, с юга.

Позавчера мы с Лизанькою были в гостях у батюшки. Она почти весь вечер просидела у меня на коленях, как батюшкины девочки ни сманивали её. Сидела сначала тихо, как мышка; потом освоилась, забормотала нараспев, не обращая внимания на беседу поверх её головы,

даже напевала что-то, покачиваясь в такт всем тельцем. Сегодня я возил её к причастию. А Олечка побывала у ранней обедни – как давно не бывала: пришла задолго до часов... И оттого вернулась сияющая, мягкая.

А вчера в библиотеке мне не выдали книгу (я выписал Жуковского). Вновь требуют странную бумажку: «На каком основании читаете старые книги?»

– Может, вы их фотографируете или перепечатываете...

– Переписываю.

– Вот! Видите?... А нельзя!

– Как нельзя? Я же конспектирую!

– Всё равно... нельзя. Положение такое...

И сегодня после храма я заехал в библиотеку поговорить с заведующей. Разумеется, с Лизанькой. И заведующая не устояла против столь пленительной атаки – молодой, лохматый папа («и кудри пышные до плеч») с очаровательно кудрявой девочкой на руках... Пообещала – книги будут давать.

Лизанька иногда с любопытством спрашивает, когда я отказываюсь попробовать её молочка:

– Посык вам?

То есть «пост вам?» (у вас).

Объяснила мне, что деревья и травы не сами растут – «Господь растит».

С удовольствием бродит по лужам, предлагая:

– А гавай искупаемся!

– Где?

– А вок кук – в лухэ...

– Вода, смотри, какая грязная.

Но для неё это – целая тема, и она вдохновенно рассказывает, что мы возмём большую лопату, разгребём всю грязь и насыпем туда песочек.

– А песочек зачем?

– Шкобы вага (вода) была чискакая...

Я дочитал Григорьева, в библиотеке оказалось 13 выпусков; последние два – о поэзии Некрасова и о русских песнях – оставили меня холодным. Говорят, Григорьев замечательно пел и даже написал пару неумирающих романсов («Две гитары, зазвенев...») – может быть, это и помешало ему заглянуть в глубину песенности; есть несколько верных, но только психологических замечаний. О Некрасове он тоже наговорил много верного «около», но поскольку это не только литературный феномен, но и некоторое «высказывание времени», для разговора об этом поэте нужна историческая перспектива, которой у Григорьева, разумеется, не могло быть. Вот проклятья и восторги Розанова уже заставляют волноваться и о многом догадываться.

«Воспоминания» Златовратского – принимаясь за мемуары, почтенный автор, подобно комсомольцу 20-х годов, провозгласил, что не может иметь значения всё личное, только социальное имеет смысл; и воспоминания его вполне этому лозунгу соответствуют: пусты и бессодержательны – ни живого лица, ни живого слова. А вот воспоминания его дочери написаны гораздо живее. Прозу же его хочется посмотреть: в 80–90-х годах XIX века этот «почётный академик по разряду изящной словесности» считался экспертом по «народным устоям».

Самым интересным чтением оказалась «Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь» Шевырёва. В очерке о библиотеке монастыря он перечисляет «лестницу страстей», известную нам по Иоанну Лествичнику, но по краткости изложения она вполне достойна повторения:

Прилог – «это есть самое объявление помысла уму, которое, собственно, как и самый помысел, от нас не зависит; сочетание – ответ нашего ума на его явление... приятие помысла,

беседа с ним, но ещё не заключающая в себе никакого к нему склонения; сложение – преклонение души к помыслу, уступка ему в беседе, сочувствие...» Далее идут пленение и страсть.

«За посланиями Нила Сорского следует перевод небольшого, весьма замечательного сочинения Анастасия Синаита о помыслах. Он обращает внимание на многих духовных деятелей, которые думали состязаться с самими помыслами и их в себе уничтожить, вооружались против них постом и слезами, и в пустыни удалялись, но нисколько в том не успели: ибо в помыслах своих человек не властен – и за них не отвечает Богу; но власть его начинается с того времени, как помысел к нему явился: и от него зависит прямое отсечение прилога..., т. е. не начинать с ним никакой беседы, никакого знакомства».

Какая прихотливая пунктуация, даже затрудняет чтение.

Заглянув в «бук», с удивлением обнаружил на полке роман Лажечникова «Последний Новик», вышедший в прошлом году трёхмиллионным тиражом (но в книжных магазинах я его не видел). Уже успели сдать!.. И, очевидно, недавно – мне повезло.

03.10.84.

Лизанька приболела – насморк; Оля принялась за лечение: из рациона вычеркнула молочную и мясную пищу, поит соками.

В автобусе мы с Лизанькою сели на переднее сиденье и на поворотах дружно с нею кричали – Лизанька вертела в руках свою сумочку, как рулевое колесо – так мы помогали автобусу поворачивать. Вышли.

– А почему хафёр улыбался?

– Разве он улыбался? Я не заметил.

– Улыбался. Покамухко мы ему помогали, я видева... Кага он улыбается, у него лицо... – она засмеялась, – лицо у него похожэ... на к'ёстного...

Идём тротуаром, Лиза бормочет:

– Я девочка запасливая... И кампок (компот) нага запасать – зимой бугим пить...

Спрашивает:

– Лазейка от слова «лазить», га?

Это она обратила внимание на дыру в заборе.

– Смок'и... у скамейки есь буква У...

Смотрю: да, похоже.

Иванушка уже всюю с нами общается: улыбается, забавно корчит ротик и выводит «ао-у-а». Почти совсем твёрдо держит головку. На руках предпочитает не лежать, а сидеть. Нынче Олечка всунула ему в ручку гремушку, так он скосил на неё глазки и пытался следить за произвольными движениями своей ещё неуправляемой ручки.

05.10.84, около 2-х часов пополудни

Укладываю Лизаньку – по обыкновению, у стола. Вот Олино письмо Щукиным (четыре дня писала):

«Милые и родные... Я не знаю, что иногда бывает со мною, но я шла сегодня со службы и знала, что от Танечки придёт долгожданное письмо... в благодатные минуты я так живо чувствую вашу жизнь и ваше присутствие в этом мире.

Сегодня я ранним утром уехала на службу. Давно уже не удавалось мне попасть к началу её. И я была до глубины тронута её благодатной силой и красотой. И я с грустью подумала

о наших Володях – вот они всё что-то ищут, спорят, выясняют. А есть „единое на потребу”. Отсюда истекает вода живая. Здесь бы остановиться и служить, позабыв о времени...

Вообще, мы с Володею чем глубже погружаемся в семейную жизнь, тем более, кажется, понимаем монашествующих. Вот бы с этим нынешним опытом да вернуться лет на 5 назад. Но... вряд ли что переменялось бы. Есть судьба и есть единственный путь. Всё можно победить смирением, а его-то и нет. Так глубоко гордость коренится в моём многогрешном сердце.

...наш отесинька принёс из библиотеки старинный том Жуковского, и там мы нашли стихотворение про Жаворонка, нам всем известное, но, оказывается, без последней строфы:

*Здесь так легко мне, так радушно,
Так беспредельно, так воздушно!
Весь Божий мир здесь вижу я,
И славит Бога песнь моя!*

...Когда мы получили ваше письмо и прочитали вслух, то Лизанька сказала: „Милая Леночка, что ж ты не едешь ко мне?” Целуем вас. Ждём писем и в гости.

P. S. Милая Танечка, у меня к тебе просьба – если увидишь в аптеке перцовый пластырь, купи, пожалуйста, штук десять».

13.10.84

Я уволился из дворников; вчера получил окончательный расчёт. Все эти месяцы я работал один на своём участке, не сталкиваясь не только с начальством, но и с коллегами по работе; в контору заглядывал только за получкою. Начальник пару раз ловил меня в коридоре и выговаривал за то, что я не бываю на утренних «летучках». Все дворники... точнее, «дворничихи» (сплошь – одни женщины) каждый рабочий день часов в восемь, в девятом собираются в «красном уголке» во главе с начальником участка и обсуждают производственные проблемы. В первый день, не зная границ возможного, я тоже, уже убравшись на своём участке, пришёл на это заседание и около часа выслушивал «бабий крик»: того не хватает, этого нет, квартир не дают, а очередь уже прошла... Я вышел «покурить» и исчез. Когда через пару недель начальник прижал меня в углу, я спросил его, доволен ли он тем, как я работаю. «Ну... да. Бригадир говорит, что работаешь старательно...»

– И что ещё нужно?

– Надо ходить на «летучки».

– Извините, мне это не нужно. Да и вам, по-моему, тоже... Шум и гам, больше ничего.

В таком духе мы перепирались минут десять, пока его не отозвали. Я давно заметил, чем проще и трезвее аргументы, тем беспомощней любая демагогия, и широко этим пользуюсь. Мы ещё несколько раз сталкивались с ним по этому поводу, но вот на днях он сказал мне, что «бригада требует моего присутствия на летучке» – мол, у них ко мне какие-то претензии. «Ладно, – сказал я, – приду, раз такое дело». Ничего хорошего я не ждал. При редких, мимоходом, встречах с коллегами по утрам, когда я шёл с работы, а они расходились из конторы по участкам, они заговаривали иногда со мной игривыми женскими голосами, я так же легкомысленно отшучивался и считал, что все ко мне прекрасно относятся, пока однажды женщина с соседнего участка, часто меня выручавшая по мелочам, не сказала мне: «Смотри, Володя... Наши тебя невзлюбили...» Я был ошеломлён: с чего бы это? Она только пожала плечами.

Так что я был готов к холодному приёму. Правда, действительность всё же превзошла степень моей готовности. Я слегка оторопел от беспричинной злобы, с которой эти милые женщины выкрикивали мне какие-то бессмысленные обвинения, из них я уловил только одно конкретное: что я... не хожу на «летучки». Бред какой-то.

– Стоп! – сказал я. – Секундочку. У кого-то есть претензии к качеству моей работы?
– Нет, о работе никто не говорит... Участок убран, спору нет...
– Всё остальное я считаю несущественным. Но если вам не нравится сам стиль моей работы...

– Не нравится!.. Единоличник какой-то!..

– Тогда я ухожу.

Когда в кабинете начальника я писал заявление об уходе, он пробовал меня уговорить: мол, пошумят, погалдят и успокоятся. «Нет, – сказал я. – Слишком нервная обстановка, меня это не устраивает. У меня своих проблем хватает».

Уже с неделю идут настоящие осенние, затяжные дожди: зарядит с полуночи и льёт тихо до полудня. Четыре дня назад приехала Танечка с Леночкой; на следующий день после приезда я отвёз их к отцу Иоанну, там они и остались – увы. В эти как раз дни Лизанька и Олечка переболели жестокою простудой, и я поэтому потерял работу в храме: отработал день, и меня звали остаться в ночь – я приехал домой перекусить и попрощаться, но дома застал всё вверх дном и Олю на диване...

Иванушка съедает за один присест 350 грамм; выписанного питания не хватает, кормим простоквашею из рыночного молока – у Оли его почти совсем нет.

Лизанька уже сама одевается и пробует сама есть. Твердит мне: «Ига!..» – а я не понимаю:

– Игра, что ли?

Она сердится, хмурит бровки и совсем уже обижается, когда я пожимаю плечами:

– Ига!.. Разве можно иг'у кушать?

– Ах, еда! – догадываюсь я.

16.10.84

С 15-го числа я числюсь в сторожах Покровского собора; сегодня вернулся с первого дежурства. Ехидный бригадир сторожей, с которым я повздорил ещё на Пасху, взял с меня расписку: мол, обязуюсь не читать книг в рабочее время. С пылу, с жару – и от неожиданности – я подписал эту глупость – дурацкий колпак гордости! – теперь морщусь от стыда и неестественности. Но – не читал.

А дело было так. Во время пасхальных дежурств всё свободное время, которого было немало, особенно по вечерам, я, разумеется, проводил за книгою, примостившись в любом более или менее подходящем уголке. Бригадир, наткнувшись на меня в первый раз, сразу заявил: «А читать нельзя!» Я искренне удивился:

– Почему?

– Мы на работе.

– И что надо делать?

Момент для своего замечания Васильич выбрал неудачно: мужики только что разлили по полстакана водки, и он со своим стаканом проходил мимо меня к закуске. Я от выпивки отказался и сидел в сторонке... Он замаялся, оглядываясь, но на нас никто не смотрел, все шумели у стола.

– Ничего не делать. Все сидят, и ты сиди... Не пьёшь – твоё дело. Так сиди.

– Это глупо, – спокойно сказал я.

– Ишь, умник... Не сработаемся мы с тобой.

Я пожал плечами: не сработаемся – значит, не сработаемся. И сказал:

– Вам виднее.

Надо сказать, что к церковным служащим я, начав бывать на службах, относился с невольным благоговением. Мне нравились благообразные старики с аккуратными бородками, строго обходившие храм с тарелкою или просто мелькающие в толпе молящихся по своим

таинственным делам. Я в них невольно видел людей, о которых читал в книгах: это – старина, это – остаток того, настоящего русского народа; не с нашей легковесною верою вставить в их ряды. И когда на всенощной к Покрову помощник старосты, Василий Андреевич (удивительно милая личность, у него даже во взгляде просто светится ум и заранее обещана ласка) подошёл ко мне и зазвал в конторку, я заволновался предчувствием.

– Вы где работаете?

– Только что уволился из дворников.

– К нам в сторожа не желаете?

– К вам?.. – кажется, я даже покраснел. Сказать «недостойн»? Уж слишком трафаретно. –

Не знаю... Я курю.

– Вредная привычка... Ну, так как? Пойдёте в сторожа?

– Если подхожу... С радостью.

Правда, к этому времени я уже знал, что далеко не ангелы расхаживают по храму в синих халатах, за лето я частенько подрабатывал около церкви, но с суждениями не спешил, предпочитая оставаться при своём благоговейном заблуждении.

Вчера утром Василий Андреевич привёл меня в сторожку – шла пересменка – и сказал:

– Вот наш новый сторож – Володя... Будет вместо Юры. А это наш бригадир, Михаил Васильевич. Вы должны быть знакомы.

– Знакомы, знакомы... – пробурчал мой недоброжелатель, подавая мне руку.

И как только помощник старосты ушёл, он тут же начальническим тоном сказал:

– Пиши, студент, расписку – никаких книг на работе.

– А Евангелие?

– Не умничай.

Я усмехнулся, но на душе стало тяжело. Не из-за книг – из-за этой беспричинной враждебности. А всё равно – около храма (ведь даже мечтать не смели).

С Танечкой и Леночкой мы встретились в субботу на всенощной. Оля с тревогой заметила, что Танечка плохо себя чувствует – оказывается, простыла. Мы увезли их к нам, и Олечка принялась за лечение... Они прожили у нас два дня, Танечка ожила, и вчера вечером к нам приехали в гости о. Иоанн с матушкой и увезли наших гостей снова к себе. Леночка и Лизанька в эти дни были предоставлены самим себе и баловались с утра до вечера.

Бабушка несёт Лизаньку к окну – постоять на подоконнике (в плохую погоду это – любимое развлечение: поглазеть на улицу). Но Лизин взгляд падает на иконы.

– Вок, Богоодица на кибя смок'ит, – с упрёком говорит она бабушке и добавляет скорбно. – А ты Её не любих...

– Почему не люблю? – оправдывается бабушка. – Я Её просто не признаю.

Обедаем. Лиза сползает со своего стула, тащит его к холодильнику и снова вскарабкивается на него.

– Ты куда это, Лизанька? – спрашиваю я.

– Сейчас, сейчас... – торопливо отвечает она и, уцепившись за край дверцы, тянется на цыпочках.

– А-а! – говорит разочарованно, – э-ко лук! А я-ко гумала, кук шко-нибуг такое...

– Какое?

– Такое! С'аденькое!

Капризничает, надула губки:

– А почиму так мало?

– Лиза! – с упрёком говорит Олечка. – Как тебе не стыдно!

- А кибе бо-ольхэ... – уже плача, отвечает Лизанька.
- Ну, так что ж, что больше? Я же больше тебя.
- Га-а... ма-ало!
- Какая нехорошая, жадная девочка! – в сердцах говорит маминька.
- Не давай ей совсем ничего, – строго говорю я.
- Лизанька недоверчиво, сквозь слёзы, смотрит на меня. Я качаю головой:
- Словно ты не наша девочка...
- С рыданием:
- Ваха!

19.10.84

Позавчера к вечеру вдруг похолодало, поднялся ветер, закружила метель, и нынче Лизанька выходила погулять уже с лопаточкой – покопаться в снегу.

У Олечки окончательно пропало молоко.

Щёчки у Иванушки по-прежнему пылают диатезным румянцем и шершавы на ощуп – чешет он их отчаянно.

Вечером моих «именин» (утром я причащался) появился о. Иоанн – приятное завершение торжественного дня. Я угостил его венгерским вермутом (утром мне его подарила матушка). Провожал я батюшку в начинающуюся метель.

Звонил Маше: она печальна – Юра уехал вновь; на это раз не только уволился со всех своих работ, но и выписался. Прямо горе. И Катенька у них простыла, гриппует.

Написал письмо Чугунову – в Москву (они хотят приехать к нам на Казанскую):

«Жизнь наша беспорядочна по-прежнему; времени хватает только на самое необходимое; читаю и пишу урывками и украдкой. Размышляю, покоряюсь и тревожусь – то ли Богу угодно сие, дабы не развеличалось до небес моё высокоумие („таков, Фелица, я развратен”), то ли лень моя и мечтательность, давняя губительница, окрадывают, злорадуясь, дни мои, беспечные и праздные.

Редко покидаю дом без Лизаньки. То на молочную кухню, то в учреждение какое, то в библиотеку, то с визитом к знакомым – маленькая девочка топчет со мною, ухватясь за палец. Я привык к этому и уже скучаю и теряюсь без неё в толпе.

Вчера вечером шли с нею тёмною и пустынною улицей. Она всё лепетала, но вдруг сказала:

– А мне н’авится, кага тихо... – и замолчала. И мы долго шли, слыша только шуршание наших шагов.

– А я Бога слышу...

– Что? – наклонился я к ней.

– Я Бога слышу...

Как тут не затрепетать!

– Что же ты слышишь, Лизанька?

„Голос” ли, хотел я спросить, „пеньё” ли? – но побоялся „навести” ответ.

– Бога, – по-прежнему отвечала она и добавила, помолчав, – как у Него там на небе...

Царевич наш Иванушка уже не только улыбается, но и смеётся – утробным, восхитительным хохотком. Играю с ним: мягкая его тяжесть, кисло-сладкий... не запах, а „дух” – всё будит во мне какую-то томительную жадность. А уж „заговорит” когда – не наслушаешься этих булькающих трелей. Уж мы привыкли к его алым, диатезным щёчкам, и он мне кажется совершенным в херувимской своей чистоте.

Читаю Шевырёва (труды по истории и теории литературы); кое-какие мемуары; Жуковского перечитал; на очереди, если Бог даст, Батюшков, переписка Карамзина и – давно желанный! – Самарин (кое-что я у него читал: второе поколение славянофилов, учён и набожен).

Храни вас Бог, милое семейство. В.»

После стирки мажу руки кремом. Лизанька протягивает ладошку, и я выдавливаю ей капельку.

– Не надо бы, Володя, – замечает Олечка (гладит бельё, но всё видит).

– Ишь ты, – говорю я сокрушённо, – попались... Не надо бы...

– Мы же часко (часто) не бугим, – успокаивает меня Лиза. – Иннага (иногда)! Детям же низя часко.

На кухне – стоит на стуле и пьёт, держа стакан обеими руками. Подходит бабушка и, как всегда, умильно:

– Лиза! Угости бабушку!

– Нек! – она даже отводит стакан в сторону. – Кибе низя! ты заазишься.

– Да я от милой моей Лизаньки никогда не заражусь.

– Почиму? – с любопытством.

– Ты же мне родная!

Лиза хмурит лобик, соображает, но сообразить не может, причём тут «родная» и «не заражусь». Переспрашивает:

– Почиму?

Бабушка пускается в длинное объяснение святости родства и родной крови, но Лизанька машет ручкой и перебивает её решительно:

– Нек! Дахэ если немночко выпьех, мохно заазиться!

Заигралась одна (часто – в последнее время), перекладывая свои игрушки. Но вот слазит с дивана и подбегает ко мне. Дёргая меня за рукав и доверительно заглядывая в лицо, говорит озабоченно:

– Отесинька... Ты знаех, Моничка так беспокойно спик (спит)...

– Как? – изумляюсь я.

И она повторяет чисто, покачивая головой и вздыхая:

– Беспокойно...

– А что с нею?

– Не знаю п'ямо... – она складывает ручки на животе. – Она ухэ большая девочка, она ухэ агна спик (одна спит)... И на висипеге (велосипеде) какается на гвух коёсов...

И смотрит на меня выжидающе.

– Болеет, наверное, – говорю я, откидываясь на спинку стула. – Полечить бы...

– Га! – её личико светлеет. – В бойницу!

И бежит обратно к дивану.

Поёт уже громко и верно – одна! – «Отче наш», «Богородицу», «Взбранной воеводе» (Леночка даже заплакала, когда услышала последнюю молитву из уст Лизаньки: «А я не умею!»).

– Я ищё много моликв знаю, – говорит.

24.10.84

Наша переписка с Мишей прямо заходит в тупик; два дежурства подряд, две ночи в церковной сторожке я просидел над письмом к нему, перечитывая, переписывая, осторожничая в

каждой фразе – он страшно обижен последними моими эпистолами, до того, что, кажется, уже не вникает в смысл моих инвектив. О моих замечаниях пишет:

«Не логической стройности ищу я – она смешна и ничтожна пред Богом, а хотя бы приблизительной возможности рассказать о чувствах».

Отвечаю: «Вот она, житейская шелуха слова – гляди, что вышло: ведь отказываясь от „логической стройности“, ты тем самым отказываешься и от той „приблизительной возможности“, какую, по скромности, уделяешь себе, от возможности вообще что-то рассказать. Как писатель, ты просто не имеешь права на такую чувствительную бессмыслицу. И если ничтожна логическая (т. е. словесная) стройность (космос), как чадо Логоса-Слова, то никак уж не перед Богом... Не имею сил писать об остальном, но печально, что не идеи, а недоразумения подают повод к нашим сшибкам. И я сам себе кажусь занудой, когда – уже в который раз! – принимаюсь отцеживать комаров из водянистой нашей переписки. Поэтому на многое не отвечаю – не могу себя понудить. Посуди сам – это всё-таки труд, а ты как его оценил? „В чистое небо, как в копеечку“! Да и одно дело – критические разборы, другое совсем – предлагать идеал; если первое часто совершается в тёмном предчувствии истины, то второе требует ума ясного и просвещённого. Такогого – увы! – не имеем. Самое главное, что я хотел сказать тебе: будь осторожен и трезв при обращении с ходячими «истинами», их меткость чаще всего поверхностна и представляет собою коварную ловушку, в которой навсегда застревает неискущённый ум, разменивая талант на безделушки...»

Дочитал 4-й том Жуковского (ПСС в 12-ти томах – знаменитое «Литературное приложение» к не менее знаменитой «Ниве», изящному изделию изобретательного немца). Оказалось, многое помнится. Я ходил за Олечкою по пятам и читал ей вслух. Когда набредали на Щукинские песни, Оля пела, а я удивлялся, с какою достоверностью она умела передавать неповторимую интонацию Володиного исполнения:

*Уже утомившийся день
Склонился в багряные воды,
Темнеют лазурные своды,
Прохладная стелется тень...*

Или:

*Знать, солнышко утомлено:
За горы прячется оно;
Луч погашая за лучом
И алым тонким облачком
Задёрнув лик усталый свой,
Уйти готово на покой...*

Но это – Олино «любимое». Мне почему-то твердились другие стихи:

*Отуманилася Ида;
Омрачился Илион;
Спит во мраке стан Атрида;
На равнине битвы сон.
Тихо всё... курясь, сверкает
Пламень гаснущих костров,
И протяжно окликает*

Стража стражу близ шатров.

Удивительна пластичность описания (не говоря уж о словесной музыке).

25.10.84

Дожди – если не днём, так ночью – и грязь...

Иванушка – тяжёлый и мягкий – уже хватается руками за бутылочку и держится. Сильно отталкивается ножками, пытаюсь стоять. Сегодня я уже водил его по краю дивана (как Лизаньку когда-то) – нет, пока не ходит; тянется в струнку, трепещет на вытянутых ручках, на цыпочках шагнёт и – подламывается в коленках. Часто, как завидит меня, улыбается.

Вчера укладывал Лизаньку, и она вдруг потянулась ко мне из кроватки – с опаскою, потому что я уже велел закрывать глазки:

– Отесинька... отесинька! Я хочу кибе чивоко сказать... Я кибя очень юблю...

Я наклонился и поцеловал её.

– Обними меня...

Мне слышалось «подними»:

– Куда тебя поднять?

– Обними... обними меня в кроватке... свою девочку!

На кухне, за столом, доверительно наклоняясь к «тёте Тане»:

– А знаехе (знаете), шко я вам хочу сказать? Шко кам, за холодильником, хывёк (живёт) комарик...

Говорит мне:

– Я кибя больхэ слушаюсь, больхэ маминьки.

– Почему? Потому что я строгий?

– Га! – и бежит к маминьке, крича с полдороги. – Маминька! маминька! Я отесиньку больхэ люблю, пакамушка он строгий!

Как удивительно и верно перепутались понятия: послушание и любовь!

Минуем детскую площадку:

– Шко-ко много мальчиков кук накопилось!

Едем в автобусе. У Лизаньки в руках игрушечный котёнок. Он «очень любопытный» и обо всём расспрашивает (моим голосом) свою маленькую хозяйку:

– А это что?

– Эко пвоода (провода).

– А зачем?

– Шкобы краллейбусы езгили.

– А там что?

Она сбивается со снисходительно взрослого тона:

– Не зьяню...

И я тоже на минуточку выхожу из роли:

– Лиза! Я же говорил тебе!

– Анкенна! – вспоминает она. – Кам Иванухка лежал в бойнице.

– Неужели один лежал?

– Нек, с маминькой.

– А мы?

– А мы ему обек (обед) носили.

- И он ел? – недоверчиво спрашиваю я.
- Га! – по инерции бодро отвечает она.
- Ел? Сам?
- Нек... – теряется она и тут же спохватывается. – Маминька ела!
- То-то же. А Иванушка?
- Нек...
- А он что ел?
- Кага прихол гамой, скал кухать хыджкости...

Теперь котёнок выспрашивает про жизнь Лизину:

- А какие игрушки ты берёшь с собой в ванну?
- Плывучих зверей мошно взять...
- Каких, например?
- Ну, гусь...

И оживляется:

- А вок сканция «Аврора»!

И, обращаясь к котёнку:

- Сканция от слова «осканавливаться».

По дороге домой я обронил кошелёк, меня окликнули. Поблагодарив, я поднял кошелёк.

Идём дальше.

- А шко тебе кричали?

Хм, мне кричали «эй, парень». Как-то не солидно. И я говорю:

- Мне кричали: дядя, иди сюда!
- А почиму они тебе кричали «дядя»?
- А как же им кричать?
- «Отесинька!..» – говорит она убеждённо.

Я смеюсь:

- Это я для тебя «отесинька». А для них – кто?

– Дядя... – медленно и почему-то смущённо говорит Лиза и вдруг останавливается и, обняв мою ногу, прижимается ко мне.

Оля на всюнощной, и Иванушку кормлю я:

- Эй, братец! Не хватай так бутылочку! Мешаешь.

Лизанька вмешивается:

- Я же в х'аме (в храме) не хвакаю конфеты.

Мне любопытно:

- А как?
- Беу (беру) с поклоном!

06.11.84

Укладывая Лизаньку спать, кроватку я, по обыкновению, подкатил к столу и, наказав ей спать, занялся своими делами. Минут через пять вспоминаю: как там Лиза? Гляжу, а она, поймав мой взгляд, машет ручкою:

- Пихы, пихы (пиши)! Я зак'ою г'азки, зак'ою...

Дочитал «Невидимую брань» Никодима Святогорца (М., 1892, переиздана в Джорданвилле в 1966), но ни слова не успел записать. А книжка хоть и не столь увлекательна, но читалась с интересом – «техническим». И многое намеревался выписать.

Зато «Мелочи из запаса моей памяти» Дмитриева читал, не торопясь:

«Лучшее в старину было то, что образ жизни был проще (но эта простота была бы нам совершенным неудобством и лишением), что люди были радушнее и жизнь была дешевле. Мотовство было частное, но не было общего, т. е. роскоши. Воспитание детей почти ничего не стоило; впрочем, не многому и учились...»

Комары нас просто одолели; по вечерам устраиваем настоящие сражения... Лизанька, уже готовая ко сну, сидит на диване, следит за нашими прыжками; я повествую:

- ... Комарики ведь такие невнимательные!
- Почему?
- Потому что в паутину попадают.
- Эко мушки попадаюк... (мушки попадают)... Эко мушки незамечательные...
- Не замечательные? Почему они не замечательные?
- Покамухко не замечаюк...

Оля:

- Как мне Иванушка понравился!

Лиза:

- А раньэ не нравился?

- Лизанька, я варенье принёс! – возвещаю от двери.

- Какое? – слазит она с дивана.

- Малиновое.

- А от него зю бки не боляк?

Опять в кроватке – обнимает меня и зовёт Олю:

- Маминька!.. Смोक`и, как я отесиньку поюбила!.. Гахэ (даже) отцепиться не могу!

Лизанька и бабушка пекут пироги и беседуют.

- Батюшка меня п`ичащает, покамухко я маминьку с`ухаюсь... – говорит Лизанька.

- Не больно ты её и слушаешь... – возражает бабушка.

- Мы – люди г`ехные, – сокрушённо отвечает Лизанька.

11.11.84

Ночью выпал снег, но продержался только полдня. Я пришёл домой вчера вечером – четверо суток провёл в храме (усиленное дежурство); заплатили по 114 рублей. Подходный налог с этой суммы будет взимать райфинотдел; с жалования отчисляет бухгалтер. «Держи деньги в кармане», – предупреждают коллеги (т. е. «наготове» – не сумеешь выплатить сразу, пойдут пени).

Вчера втроём ездили ко всенощной. Лизанька брала с собою розовую пластмассовую уточку, и на обратном пути эта уточка расспрашивала Лизаньку обо всём на свете. Я находился, слушая её ответы...

- Ой, что это?

- А эко к`ан (кран). Он гом (дом) скоит (строит)...

- А как он строит?

- Поднимаек кийпичики и ск`адывает навейху...

Но прерывает лекцию и кричит, привставая с моих колен:

- А вон забой (забор)!

- А зачем забор?

- Шкобы астения не с`ывали!

Выходим из автобуса.

– А почиму хафёй (шофёр) похox на майчика?

– Молодой ещё.

– Ухэ дядя?

– Да, дядя. Уже работает.

Подумала немного и качает головой:

– А ицо (лицо) совсем как у майчика...

Записываю 1-й том «Истории поэзии» Шевырёва – книга, совершенно невозможная в наш век специализаций; впервые я знакомлюсь с таким широким, «цивилизационным», взглядом на словесное искусство человечества; и пусть этот взгляд «приблизителен» и не совсем верен во многих частностях, но такой точки обзора я не встречал в современной литературе. Похоже, что чисто светская словесность зародилась на юге Франции, в Провансе, и была разнесена труверами по всем европейским дворам. И там же столетиями кипел котёл ересей.

Взял «Записки» Тучкова (наткнулся в каталоге), но он оказался лишь однофамильцем Бородинского героя, жена которого создала Спасо-Бородинский монастырь.

16.11.84

Оля записала:

«– Бабухка, ты такая говорунья!.. Всё говоих и говоих. А маминька такая сиёзная (серьёзная), всё молчит и молчит...

Это Лизанька сказала на кухне, сидя за ужином.

Как-то мы читали с нею книжку Л. Толстого «Рассказы о животных». Прслушав рассказ «Акула», Лизанька спросила:

– А шко с ней (т. е. с акулой) потом бугик?

– Ничего. Убили её, и всё.

– А потом она воскреснет?»

Читаю Самарина («Сочинения», т.1; М., 1900). Уже статьи по польскому вопросу придают этому тому неубывающий интерес (неужели и вправду царь и правительство его настолько не доверяли своему народу, благоволя и снисходя к панам и баронам? – мысль обидная, расхожая в современной историографии). Но с гораздо большим интересом я, разумеется, читал статьи литературные. Полемика с Белинским меня просто захватила. Я не поленился полистать корифея нашей критики. Картина поразительная... Оба правы. Славянофилам явно не хватало вкуса, важность и великость их идеи подавляли в них восприятие художественного; эстетические суждения славянофилов даже если и верны, то настолько общи, что неприменимы ни к какому конкретному примеру; даже в этом случае они верны – как мировоззрение, но ни как сочувствие прекрасному, ни как впечатление и созерцание. Оба – и Самарин, и Белинский – недостойно мелки в своих придирках к оппоненту. Но Самарин великолепно вскрывает картину непонимания современниками даже того первого чувства, что вообще породило интеллектуальное движение «славянофильства», а Белинский блестяще отстаивает право искусства быть вне любого «направления».

Вот Самариним обличается главный приём «западников», которым они, без зазрения совести, пользовались ещё полвека: «Система спора, принятая критиком в отношении к славянофилам, так удобна, что действительно трудно от нее отказаться. Обыкновенно он навязывает им то, чего они никогда не говорили, а потом опровергает их тем, что они первые сказали».

Но и упрёк Белинского верен: «Критик «Москвитянина», мы уверены в этом, человек умный и начитанный, который знает все возможные теории и системы искусства, особенно немецкие. Это, бесспорно, очень хорошо; но одного этого ещё очень мало для действительного

понимания искусства: для этого прежде всего и больше всего нужно то врожденное эстетическое чувство, тот инстинкт, тот такт изящного, которые обнаруживаются не в теории, а в её критическом приложении к произведениям искусства».

Самарин цитирует Никитенко, статьи которого мне не попадались. Но вот одно место из его обозрения «О современном направлении русской литературы» мне показалось особенно важным (кажется, Розанов в этом же смысле говорил о «клеветническом» характере русской литературы):

«Наши нравописатели-юмористы, выставляя перед читателями одну нелепую сторону помещика, чиновника, забывают вовсе другую, где нравственный и общественный их характер должен быть понят и изучен с одной точки зрения, спокойно, без ярости и озлобления. Им беспрестанно мерещатся Ноздревы, Собакевичи, Чичиковы. За этими безобразными лицами, отчасти действительными, отчасти вымышленными, хотя и не с дурным намерением, они не видят важных нравственных преобразований, совершаемых в нашем поколении чувством национального достоинства, испытанным и восчувствованным злом полуобразованности, необходимостью обозреть свой быт оком зорким, незакастенным в предрассудках и невежестве, и, наконец, могучим влечением века, полагающим печать отвержения на всякую вольную слепоту ума, на апатическое бездействие духа. Ежели есть у нас и Ноздревы, и Собакевичи, и Чичиковы, то рядом с ними есть помещики, чиновники, выражающие нравами своими прекрасные наследственные качества своего народа с принятыми и усвоенными ими понятиями мира образованного; есть помещики и чиновники, столько уже просвещенные, чтобы понимать и выгоду, и славу просвещения, потупляющие со стыдом свои взоры пред картиною того прошедшего, где темное невежество спокойно ело и спало, но где оно только ело и спало. Вы их встретите везде, и в глуши провинциальной, среди забот служебных и житейских, – иные из них действуют, другие безмолвно в глубине сердца воспитывают прекрасные побуждения, достойные быть делами. Конечно, люди эти рассеяны поодиночке, не соединены еще в одну общественную силу, но они умножаются и, следовательно, более и более наполняют собою разделяющие их промежутки».

30.11.84

Еду в библиотеку – сдавать Карамзина («Неизданные сочинения и переписка», Спб., 1862). Выписал немного, особо важных мыслей нет, но масса милых подробностей. Он восхищался императрицей Елисаветой Алексеевной («Она ещё хороша лицом, миловидна, стройна, имеет серебряной голос и взор прелестный»), дружил с великой княгиней Екатериной Павловной, любимицей Александра Благословенного (после смерти первого мужа она вышла замуж за короля Вюртембергского). С удивлением натолкнулся на совершенно не известное мне имя французской писательницы de Souza: «Вечеру, – пишет он царице в 1823 году, – уложив детей, читаем романы г-жи Сузы – и я всё ещё плачу как ребёнок». Статья о Польше – показательна. Еду.

02.12.84

Вечер, одиннадцать часов; за окном -16°. Сажусь переписать Олино письмо к Танечке Щукиной:

«...Спасибо, милые, и за гостинец, и особенно за письмо. Трудно описать, милая Танечка, ту теплоту сердечную, которую я испытываю, вспоминая тебя. Я думаю, что это чувство отдалённо похоже на ту любовь, которую должны испытывать христиане друг ко другу. Но оно редко посещает меня в отношениях с другими моими ближними. И это говорит о том, что

заслуга в нём не моего грешного сердца. Просто трудно не ответить тебе тем, что есть в тебе в избытке.

... Дети спят; это случается редко, чтобы они уснули одновременно. Володя на работе, и наконец можно посидеть и побеседовать с вами.

Время наше течёт незаметно, хотя мы и не в суетливой Москве, а в медлительной Самаре. Но ты, Танечка, очень верно сказала о том, что есть для тебя время; я не помню дословно, но смысл чувствую хорошо – кажется, о сердечных впечатлениях. Только и можно противостоять его потоку, помятуя о вечности, которую Господь благодатно запечатлевает в сердце.

Володя с Лизанькою возвращались по тёмным улочкам домой от Наташи, шли молча, вдруг Лизанька остановилась и сказала: «Отесинька, я чувствую Бога» – «Как ты чувствуешь?» – «Чувствую в небе».

Вот какие мгновения бывают у наших ангелов.

Приезд Чугуновых нарушил наше почти монастырское уединение – встреча с ними была светла и радостна. Они, наверное, уже рассказали вам о своих впечатлениях. Я же лишь сообщу, что наши батюшка с матушкой специально приезжали к нам, чтобы повидаться с нашими гостями. Отец Иоанн целый вечер беседовал с моей мамой, и она слушала батюшку внимательно, всё соглашалась и поддакивала, так что мы диву давались.

Дорогая Танечка, благодарим тебя за сказочку Жуковского. Очень о вас скучаем. Чугунов рассказывал, что на Рождество опять собирается к вам. Хотели бы и мы быть с вами, но вряд ли решимся отправиться в дальний путь с Иванушкой. Он стал таким беспокойным мальчиком. Ни сидеть, ни лежать один не хочет. Кричит отчаянно, пока не возьмёшь его на руки. На руках же сразу успокаивается и начинает очень добродушно всем улыбаться...»

06.12.84

Лизанька у нас простыла недели две-три назад, и всё прибаловала. Чугуновы приехали к нам 20-го, вчетвером, и жили 9 дней (от нас они поехали к Щукиным). Жили мы дружно, шумно и весело, омрачаемые только простудными недомоганиями: вновь переболела Лиза, потом занедужила Варя, Галя пару дней плохо себя чувствовала... Слава Богу, всё обошлось без осложнений. Я дважды подменялся на работе, чтобы побыть с гостями, и первые дни мы с Володей беседовали очень оживлённо (я прочитал другой вариант «Невесты»). Потом детские болезни и хлопоты несколько рассеяли нас. Перед отъездом Чугуновых в Москву мы принимали дорогих гостей: батюшку с матушкой. Случайно или нет, но они угадали на пятилетие нашего с Олечкою венчания.

У отца Иоанна и Анастасии Антоновны – новое увлечение, т. е. батюшка мне и раньше говорил, что они стали как-то по-особенному питаться, но вот так подробно и «пропагандистски» они, перебивая друг друга, рассказали в первый раз. И мне невольно стало казаться, что о. Иоанн и в самом деле выглядит гораздо свежее обычного. На нашу маму их рассказы произвели сильное впечатление – она перестала есть мясо!..

Чугуновы уехали, и Лизанька заболела снова; обнаружили у неё на шейке опухоль. Матушка сказала: это – зуб! И вчера утром я, в сопровождении Анастасии Антоновны, возил маленькую девочку в стоматологическую больницу – ей вырвали первый в жизни зуб... Слез было меньше, чем можно было ожидать. И всё-таки: какая она жалобная! Болеет уже третью неделю; опухоль под левой щёчкой немного изменила её голосок – она говорит теперь гортанно, как чужеземная птичка...

Возвращаемся из больницы. Я везу её на санках, спешу – чтобы не замёрзла. Сидит нахолившись, сложив ручки на коленках. В двух шагах от нас, по дороге, обгоняя с монотонным рёвом, несётся бесконечный поток машин. И вдруг в этом рёве я слышу негромкий, со вздохом, голос:

– Отесинька, хочу на ручки...

09.12.84

Пришли письма: от Танечки (о Чугуновых пишет: «такие родные лица»), от Миши – коротенькое и печальное – и от Володи Чугунова с рассказом о московских впечатлениях (Гоголев так и называет меня двоеверцем – мол, помимо религии он, т. е. я, ещё и стихи любит почитать; грешен – люблю). А Оля написала Новиковым:

«...Думаю, что много радостей узнает ваша душа, когда появится в вашей семье маленький ангел с печатью иной жизни, иного мира, так явственно видимой на его лице в первые дни и недели его мучительной жизни с нами...

Володя по-прежнему работает сторожем при храме. Работа ему нравится, и мы уже не представляем, где ещё можно работать, как не там. Какие бы искушения там не встречались, всё же совсем другие люди, другая атмосфера, другие слова и мысли вокруг.

...Один русский писатель сказал, что семейных людей пронизывают мысли о монашестве, а монашествующих – мысли о семейной жизни. Мы с Володею лишь с рождением Иванушки стали будто немного понимать, для чего люди остаются одинокими и идут в монастырь. Но – на всё воля Божия. Господь не сказал, что спасётся монашествующий или семейный, но „претерпевый до конца”. Так что будем терпеть и нести немощи друг друга и любить Бога всею душею и всем сердцем. Помогите вам Господь.

Кланяемся вам низко. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица. Пишите...»

14.12.84

Искупали и уложили Иванушку; вот уже второй день он засыпает у нас в 8 часов – вчера вечером я вынес его на улицу и с четверть часа покатал на санках; он уснул так крепко, что Олечка размотала и уложила его в коляску безо всяких затруднений. Уже недели три, как он держится на ножках. Ещё при Чугуновых я ставил его в Лизину кровать и цеплял ручки за перильца – и он держался! Недолго, правда.

Завтра мне на дежурство... Я голодаю уже в шестой раз, каждые среду и пятницу (взял благословение у о. Иоанна Гончарова). Олечка утверждает, что у меня изменился цвет лица; я же никаких изменений в себе не наблюдаю.

Чуть не забыл: несколько дней назад, когда я укачивал Иванушку, он, бесцельно болтая ручками и ножками, вдруг вынул изо рта соску, посмотрел на неё отрешённо и сунул обратно; вынул и в другой раз, но опять засунуть в ротик так и не сумел, возя пустышкой по личику... Сегодня же, в такой же ситуации, он проделал эту операцию раз десять, пока я не уверился, что это не случайность.

Вчера, по дороге из библиотеке, Лизанька напевала песенку про курочку, пропуская строки. А я никак не мог их припомнить. Сегодня, проснувшись, спросил у Олечки и, лежа, повторял громко – специально для Лизаньки:

Ах, какая курочка у меня жила!

Ах, какая умница курочка была!

– А паком куда девавалась курочка?

– Не знаю... – растерялся я.

– Навенное, умерла? Птицы хэ мало хывут?

– Мало...

– Умерла курочка, – утвердительно сказала Лиза.

Но через минуту сама с выражением распевала: «Ах, какая курочка у меня жила!..»

Ответил Мише: «...родным и милым чувствую и принимаю православный мир; не безгреховным – далеко нет! – но милым и родным. Как широк и разнообразен, как личен этот незримый, строящийся энергией святых, поток православной культуры – профанного бытия, освящённого, по милости Божией, оформляющей силой культа, „силовым полем” его. Я дочитываюсь до восторга; я не мыслю их, этих учителей и товарищей моих (братьев!) погребёнными – так жива, так сладка и упоевающа их речь... Как бы ни мудрил нынче Гоголев, до гроба останусь признателен ему за то, что тёмными речами своими он открыл мне этот родной мир, родной настолько, что нет для меня в нём ни прошлого, ни будущего – единое настоящее (поле битвы)...

Или я очарованный? Но жизнь убеждает меня в том же: без реальнейшего – нет реального. Теперь я прямо погружён в стихию православную – люди простые и полуграмотные окружают меня. Не всё в них на мой вкус, но нельзя не любоваться ими. Есть среди них и хитрые, и жадные, и гордые, и просто грубые, но лучше места мне было не найти, чтобы въявь, вживе увидеть, „пощупать” то, что я называю православной традицией. Все они (и я) ниже её, она умнее нас, и странно слышать, как загубелый в работах человек говорит мысль тонкую, как дерзкий грубиян подчиняется смыслу изящному, как соблазвившийся („падший”) произносит слово назидательное. Вот что самое ценное в человеке – вера, она и делает его человеком вполне.

Вот тебе картинка: долгое дежурство, далеко за полночь; передо мною пьяный напарник, курит (отмахиваясь от моих замечаний) прямо под иконами, икает, отрывая кислую капусту; я зеваю (дежурю за двоих): „Что – холодно завтра будет?” – „Не знаю”, – мотает он головою. „А по телевизору прогноз передавали?” – „А я не смотрю, – он икает, – пост...”

Можно смеяться, можно издеваться над таким „православием”, но мне ценно в нём не „такое”, а – „православие”...»

Ответил и Чугунову: «...Есть только два типа мировоззрения или, скорее, мировосприятия: религиозное и художественное (философское уже ущербно и, по сути, не имеет права на существование, поскольку не имеет тайны и не может иметь её – иначе перестаёт быть философией и становится Боговедением; вот поэтому бесплодны самые искусные теории)... Но художественное восприятие мира шире писательского жребия (креста! я давно об этом думал и был рад найти подтверждение у Паламы), как религиозное восприятие шире „креста святых”. Но если святой (свидетель, по словам Флоренского) есть один из „держателей” этого мира – в силу благодати, то художник, во всех своих разнообразных проявлениях, „устроитель” его – в силу своего дара. И понять смысл обречённой на гибель культуры можно только как энергетическое поле борьбы за душу человека, поле, пронизанное как токами призывающей благодати, так и призывными токами своеволия – многоликого Хаоса...

Так что обмолвка Гоголева многозначительна. Если бы ещё он повернулся, так сказать, спиной к искусству от избытка ложной, иссушающей, полусектантской „церковности”, то в этом не было бы особого греха – не всем же восторгаться Пушкиным и восхищаться райскими песнями Моцарта, это и в самом деле „для немногих”. Но он же, голубчик, отвернулся от „светского” ради таинственных вещаний. Хотя я думаю, что мистика – лишь подчинённая часть художественного мышления...»

17.12.84, в.м. Варвары

Вчера мы вместе с Лизанькою провели целый вечер у Маши (Юра опять уехал в Ср. Азию). Маленькие девочки самозабвенно играли, большие – столь же самозабвенно беседовали. Я как-то нечаянно «выпал» из общего разговора, и, похоже, это было кстати – они сумели

растрогать друг друга. Олечка после сказала, что вновь узнаёт в ней ту Машу, в какую она была беззаветно влюблена в студенческие годы.

Вернулись мы домой около полуночи, и, уложив Лизаньку, Олечка не уснула вместе с нею, как это обыкновенно случалось, а вышла на кухню, где я читал Вигеля и пил чай с изюмом (до 3-х часов пополуночи), и написала лирическое письмо Танечке, из которого я рискну выписать лишь немногое:

«...Сегодня я причащалась за ранней обедней, и удивительно счастливый и благодатный был день. Сначала пришло письмо от Володиного отца – после двухлетнего его молчания – такое добродушное и примирительное! А потом мы поехали втроём к Маше и засиделись там до полуночи...»

Не понимаю, откуда у Олечки взялось впечатление «двухлетнего молчания» – наша переписка с отцом регулярна, как железнодорожное расписание. Но уж очень «бытовое» содержание этой переписки, видимо, просто не задевало в последнее время её сознания. А письмо из Чайковского и в самом деле добродушное:

«...в общем, письмо твоё залихватское, мы с мамой посмеялись досыта. Сегодня вечером придёт к нам родня вся, и им прочитаем твоё письмо – они очень любят читать или слушать твои письма, а это – особенно... Как мы поняли, ты работаешь сторожем в церкви? Не боишься?.. Да, твои работы вообще нам не нравятся, но что делать? Вам видней – как жить...»

Лизанька – Олечке – перед сном:

– Эко было давным-давно... кага тибя ещё не было...

– Ну, Лизанька! Тебя тогда и подавно не было!

– Нек, я была... Просто я расту медленнее, а ты быстрее...

Наряду с «Библейской историей» прот. Иоанна Базарова (настоятеля церкви в Штутгарте, королевство Вюртемберг) я прочитал «Странствующего жида» Жуковского и «Подражание Христу» Фомы Кемпийского.

Вечный Жид, по итальянской легенде, это Малх, евангельский раб первосвященника Анны, которому ап. Пётр «урезал» ухо, и он же удавил Христа на допросе, сказав: „Так Ты отвечаешь первосвященнику!..“. Агасферусом его наименовали в Германии уже в XVII веке. Стихи Жуковского поистине прекрасны – какая свобода в слове! Он пользуется ритмом как музыкант, и возникает необыкновенная гармония, оценить которую уже было некому... Собственно, вся легенда умещается в несколько начальных строк:

*Он нес свой крест тяжельый на Голгофу;
Он, Всемогущий, Вседержитель, был
Как человек измучен; пот и кровь
По бледному Его лицу бежали;
Под бременем своим Он часто падал,
Вставал с усилием, переводил
Дыхание, потом, шагов немного
Переступив, под ношей снова падал,
И, наконец, с померкшими от мук
Очами, Он хотел остановиться
У Агасферовых дверей, дабы,
К ним прислонившись, перевести на миг
Дыханье. Агасфер стоял тогда
В дверях. Его он оттолкнул от них
Безжалостно. С глубоким состраданьем
К несчастному, столь чуждому любви,*

*И сетуя о том, что должен был
Над ним изречь как Бог свой приговор,
Он поднял скорбный взгляд на Агасфера
И тихо произнес: «Ты будешь жить,
Пока Я не приду», – и удалился.
И наконец Он пал под ношею совсем
Без силы. Крест тогда был возложен
На плечи Симона из Кирины.
И скоро Он исчез вдали, и вся толпа
Исчезла вслед за Ним; все замолчало
На улице ужасно опустелой.*

Немецкий монах Фома родился в городке Кемпене, Кёльнской епархии, но с 13-ти лет до самой смерти подвизался в Нидерландах в монастырях Ордена Регулярных Каноников (впервые слышу о таком ордене; да и про каноников ничего не могу узнать – кажется, это были в каком-то смысле самостоятельные духовные лица, т. е. владевшие собственностью, неподвластной местному церковному управлению). Его книга (в переводе Сперанского!), кажется, не пользовалась расположением православного духовенства, но «в свете» она была популярна – и это уже подозрительно. Да и сама идея «подражания» мне не нравится. Апостол Павел говорит: «Не я живу, но живёт во мне Христос»... Впрочем, кое-что назидательное я всё-таки выписал. Например:

«... часто мы замечаем, что в начале нашего обращения к Богу мы были лучше и более имели чистоты, нежели после многих лет упражнения...» Обидно, но справедливо.

Вечером. Купали Лизу; с возмущением, сидя в ванне – к Олечке:

– Не нага меня наплёскивать!

Уже на диване, вытирая маленькую девочку мохнатым полотенцем, Оля с восхищением говорила мне:

– Ты только послушай, какие она слова говорит: «вряд ли»!.. «сомневаюсь»!..

20.12.84

Утро, десятый час; я только что вернулся с дежурства. Лизанька сидит под столом («У миня кук столовая»), ест мандарин, разложив его дольками на стуле, и рассказывает (я переводеваюсь):

– Оказывается, Иванухка у нас уже бальхой...

– Большой? Почему ты так решила?

– Халик (шалит) пакамухко.

– Как же он шалит, такой маленький?

– У бабушки подухку на пол бросил.

Вчера она ходила с маминькой в книжный магазин. Олечка с интересом рылась на полках и не сразу обратила внимание на Лизанькин лепет. Маленькая девочка, подёргивая маминьку за полу курточки, просительно бормотала:

– Кам Иванухка! Маленький Иванухка! Маминька, купи мне Иванухку!

Рядом были разложены плакатного формата портреты Ленина в детстве. Продавщица всё хмурилась, слушая лепет Лизы, и наконец не выдержала:

– Какой это Иванушка? Это – дедушка Ленин!

Лиза замерла – она и без того чуждается общения с людьми незнакомыми, а тут ещё такой тон недоброжелательный (к тону она весьма чутка)... И, ухватившись за маминькину курточку, застыла у прилавка, в упор разглядывая весёлого, кудрявого мальчика, которого строгая чужая тётя назвала почему-то «дедушкой».

За ночь в сторожке я дочитал «Verwandlungen» Овидия и в конце 15-й песни обнаружил тему, затронуть которую решались немногие поэты:

*Und nun hab ich ein Werk vollbracht,
das Feuer und Eisen
Nimmer zerstört noch Jupiter Zorn
noch zehrendes Alter...*

Есть в этой строфе и «моя лучшая часть», и «нестирающееся имя», и «будет читать меня народ», и «буду я жить в далёком будущем» – весь набор... И всё же у Пушкина точнее: «жив будет хоть один пиит»!

Но Овидия я читал «между делом», дело же состояло (кроме, разумеется, обходов храма каждые 30–40 минут) в выписывании из Вигеля любопытных деталей. Вот, по поводу встречи императрицы Марии Феодоровны с народом в Вышнем Волочке, он вспоминает мнение западных писателей о «природном рабстве» русского народа:

«...воля их, не всех же уверят они, что долг в соединении с чувством достоин презрения. Там, где люди повинуются по необходимости, из одного страха, там она жалки и до некоторой степени гадки; но примешается к этому любовь, и всё облагорожено. Горе роду человеческому, когда предметами всеобщего посмеяния, а не восторга его, как было доньше, сделаются любовники, тысячу раз готовые жертвовать жизнью для обожаемой женщины, верные долгу супруги, втайне оплакивающие неблагодарность и непостоянство мужей и не думающие мстить им, покорные с нежностью дети к строгим, даже несправедливым родителям; горе нам, когда в целом свете терпение и кротость будут почитаться признаками низкой души, а всякое возмущение – благородством ея; тогда наш мир сделается настоящим адом».

Тургенев рассказывает Вигелю об открытии лица в Царском Селе, упоминая при этом и племянника Василия Львовича, и автор восклицает:

«Странное дело! дотеле слушал я его довольно рассеянно, а когда он произнёс это имя, то вмиг пробудилось всё моё внимание. Мне как будто послышался первый далёкий гул той славы, которая вскоре потом должна была греметь по всей России, как будто что-то вперёд сказало мне, что беседа его доставит мне в жизни столько радостных, усладительных, а чтение его столько восторженных часов!»

Редакция издания (Катков и К^о) по политическим соображениям выпустила из Записок эпизод о присоединении Финляндии (поход 1809 г.) – я аж застонал от сожаления! Уж слишком, наверное, остёр был глаз этого ипохондрика.

В зиму 1811–1812 гг. Москва веселилась, как никогда, без памяти. «Гнев Господень над старою грешницей, подумал я, не сдобровать русскому Вавилону. Может быть, я ошибаюсь, но бывали минуты в моей жизни, в которые мне казалось, что я одарён ясновидением. Бывало, на старый, на священный Кремль не взгляну я без благоговения (ай да немец!.. ну, пусть – чухонец...), а тут смотрел на него с ужасом: мне чудилось, что на башнях его вижу я Мене, Текел, Фарес, те страшные слова, которые невидимая рука огненными буквами писала на стене во время пиршества Валтасарова».

О Наполеоне пишет, что ему удалось «неистошимую корсиканскую свою злость» вдохнуть в народ «вообще беспечный, незлобивый и забывчивый»:

«Зато что может сравниться с добрым согласиём, которое с самого начала войны... стало водворяться между всеми состояниями? с силою веры в промысел Всевышнего, их оживляв-

шей, не слабевшей, а беспрестанно возрастающей с несчастными событиями, которые другой народ ввергнули бы в отчаяние? Прекратились все ссоры, все неудовольствия; составилось общее братство, молящееся и отважное... Страдания, конечно, были велики, язвы, наносимые народам, глубоки, боль была жива, но утишаема, умеряема высокими чувствами патриотизма и чести».

25.12.84

Утром Лиза проснулась вслед за Иванушкой. Как всегда, первый возглас:

– Ма-а-ама!

– Маминька Иванушку кормит, – сквозь сон бормочу я. – Не мешай, она сейчас придёт.

– А к тебе можно?

– Можно...

Она вылезает из кровати, шлёпает – слышу – босыми ножками по полу и прыгает ко мне на диван. Гляжу: пришла со своим одеялом! Но сон долит меня, и я, обняв Лизаньку («обними медвехонка, похауста...»), засыпаю снова. А через несколько минут просыпаюсь от горького плача:

– Мама! Где мама?

– Ты же Иванушку разбудишь! – сержусь я, но глаз не открываю, торопливо говорю. – Олечка, поставь Лизаньку в угол!

Маленькая девочка буквально взывает от горя:

– Меня похалеть нага!.. А кы мне ищё прибавляех!..

Конспектирую машинописную копию книги американского монаха Серафима Розе «Православие и религия грядущего» (Платина, Калифорния, 1979). Книга крайне интересна. Мне попадались публикации об оккультизме, йоге, трансцендентальной медитации, но вот такой общий взгляд и «общий знаменатель», изложенный простым и ясным языком, очень важен.

Оказывается, после царской семьи ритуальное убийство было совершено в 1924 году – на этот раз оккультистами. Кинжалом «со специальной рукояткой» был заколот иеромонах Киево-Печерской Лавры, бывший оккультист и морской офицер, Николай Дробязгин. А я считал оккультизм «игрой воображения».

О Бердяеве Розе пишет, что в любое другое время он никогда бы не считался православным христианином.

Иванушка наш сидит уже самостоятельно. Утром Олечка попробовала: он покачался, покачался на попке и упал. И только со второй попытки укрепился и долго сидел, да ещё ручками махал, за игрушки хватался.

28.12.84

Нынче я с дежурства (потеплело до -8°, и солнышко во всю). Второй час пополудни; укладываю Лизу, и у самого глаза слипаются...

– А почиму у к'ёстной гомик маенький, а как много вещей?

– Как это? Каких вещей там много?

– Ну, холодильник... Гва холодильника!

– Как два? – удивляюсь я.

– Гва! Агин в коидоре и агин в комнаке!

Надо же! А я не замечал.

Бабушка из своего киоска принесла книгу Агнии Барто и защебетала над Лизанькой – тут же, в прихожей, в шубе ещё, принялась восторженно, с выражением зачитывать: «Уронили Мишку на пол...» Я подошёл, поморщился:

– Неудачную вы сделали покупку.

– Вот ещё! Всё вам не ладно, что я ни куплю...

Лизанька слушала настороженно, не отрывая глаз от книги. Я пошёл за подмогой и советом:

– Олечка, мать Барто купила...

– Ах! – вскинулась Оля. – Где?..

Последовала шумная перепалка у порога – над пушистой головкой Лизаньки. Не бесполезно.

– Возьми, – сказала она, поднимая голову и протягивая бабушке книжку. – Плохая книга...

Собираем посылки в Москву – Шукиным и Новиковым. Оля торопливо приписывает: «... Саша интересуется, какой была наша семейная жизнь в самом начале. Отвечаю: очень тяжёлой. Поскольку таинство бракосочетания было совершено над нами не сразу, понятия о религии мы имели весьма романтические, всё в нас и вокруг нас было вывернуто наизнанку. Одним словом, мы были безумными. Поэтому наш опыт того времени к вам никак не применим. У вас всё должно и начаться, и закончиться одним только миром и любовью.

После нашего венчания жизнь наша вся переменялась. И с того времени смиряющую нас друг перед другом благодать мы чувствуем постоянно...

Лизанька наша тоже быстро растёт. Я уж как-то смирилась с этой неизбежностью, но всё равно изменения эти кажутся мне утратами. Иванушке в праздник Рождества будет ровно полгода...

Да хранит вас Господь и Его Пречистая Матерь.

Целую. О.»

Я всегда поражаюсь безоглядности, с какою Олечка употребляет слова, но не поправляю, не уточняю – удивительным образом она всё равно высказывает верную мысль и верно передает чувство. Это какой-то фокус.

– Причём здесь фокус? – сердится Оля. – Что тебе здесь не нравится?

– Ну, «таинство бракосочетания», например...

– Эти твои тонкости, знаешь... Никто в них не вникает.

– Но мы же читали Розанова и должны...

– Я думаю, молодожёнам не до различий «брака» и «венчания». Для них это одно, и пусть будет одно. А о различиях ты с батюшкой будешь спорить.

– Да-а... С ним поспоришь!

31.12.84

Мой книжный год завершает Самарин – «Крестьянское дело до Высочайшего рескрипта 20 ноября 1857 года». В одном из следующих томов обещаны его труды богословского содержания (под редакцией Иванцова-Платонова! – не могу найти его книгу о патриархе Фотии).

Уже в который раз натываюсь на известия о крестьянской реформе в Пруссии и о гениальном министре Штейне. Самарин, наконец, сообщает об этом кое-какие сведения, но подробностей нет и у него; очевидно, это было нечто общеизвестное:

«Разбитая и униженная, Пруссия приступила к внутреннему своему обновлению в самое то время, когда французские гарнизоны занимали её крепости, а государственные доходы

похищались контрибуциями... Тогда были задуманы и начаты все коренные преобразования... упразднение барщины, крепостного состояния /кажется, без земли – в отличие от России/... Благодаря великим государственным деятелям, в ту пору явившимся, Штейну, Гарденбергу и продолжателям их трудов, единодушному содействию целого общества и благородной любви Фридриха Вильгельма к правде и свободе /и это о прусских королях!/, униженная Пруссия быстро поднялась и не только воротила утраченное, но стала выше прежнего».

В конце 1850-х годов в России было 300 тысяч помещиков и 11 миллионов крепостных крестьян из общего числа населения в 74 миллиона человек (1858). Что удивительно, это количество «крепостных душ», с небольшими колебаниями, сохранялось аж от 1812 года – не росло... Меня немножко покорило, что Самарин так яростно, без «философских отступлений», оспаривает вообще «право крепости». Понятно, время настало, пришла пора действий, но... кое в чём можно было бы оговориться. В колебаниях правительства всё-таки есть грустная, никому не нужная теперь мудрость: государственные мужи если не умом, то инстинктом чувствовали, как опасно трогать крестьянскую лаву – не обрушить бы Россию. Если бы только крестьяне были «крепки» не лицу, не помещику, а земле... Они ведь так и понимали это дело: мы, мол, ваши, а земля – наша. Община крестьянская (мир, которым стояло Русское царство) стала разъезжаться в разные стороны, «поползла» со времени реформы. Может быть, тут не только и не столько реформа виновата, сколько дух времени «руку приложил» – может быть. Наступала эпоха атомизации...

Лизанька спорит с бабушкой:

– Вок ты поп'обуй, поп'обуй – сдевай шко-нибудь без Божьей помощи! Ничего не сделаеш!

– Да вот я сегодня из магазина шла. Никто мне не помог. Еле дотащилась с сумками, – возражает бабушка.

– Вок потому ты и дотащилась, – горячо говорит Лизанька, – что тебе Бог помог. Если бы не помог, ты бы упала.

Нам она доверительно сообщила, что бабушка «мажет губы – огнём».

Из Бестиария

*Мягкую лапу пожавши и горько вздохнув, гладкощёкий
Скорбно Котёнок направил стопы свои к дому, но прежде,
Чем полосатолюбимого Тигра умчит неизбежно
Громкошумящее чудище, нежной любовью томимый,
Станом божественно-стройным, главой, увенчанной пушистым
Гребнем волос, да и золотом блестящей плюшевой шкуркой
Очи, печалью затмённые, так захотел насладить он,
Что, ушкорозовый, скрылся за брентную сенью забора
И, не желая послушаться ласкововластного Друга,
Чудным виденьем смягчал он тоскою стеснённое сердце,
Кротко вручая судьбу бедоносным богам, и молитву
Непобедимосмиренную приняли боги – бессмертных
Дрогнули души сочувствием, Пеннорождённая лично
Поворошила опилки в главе изумлённого Тигра...*

Часть вторая

03.01.85

Я отдежурил двое с половиною суток: с вечера 30-го до утра 2-го; устал и полдня отсыпался.

Ездили с Лизанькой на санках на молочную кухню. Через дорогу несущую её на руках. Морщась от ветра, она спрашивает:

– А можно такую махынку купить – для пикания (питания)?

– Какую машинку? – невнимательно переспрашиваю я, поглядывая по сторонам в ожидании перехода.

– Для пикания! Шкобы не ходить! Нахмёх (нажмёшь)... пок’утишь учку, и пикание польётся... И не нага ходить никуда.

– Как ты хорошо придумала! Да вот где её взять-то, такую машинку?

– Купить! В магазине!

– Хм, что-то я таких магазинов не знаю – где они есть?

– В Сузгале!.. Кам возле сканции... возле сканции... – не может удержаться и привычно добавляет, – возле сканции «Аврора» ешь такой маенький магазин, киосок ешь, и кам, в агном отделе, прогают (продают) такие махынки...

Оля учит Лизаньку произносить «ш» вместо её обыкновенного малороссийского «х»:

– Скажи, Лизанька, «кушать»...

И маленькая девочка, так непривычно, так мягко выговаривая, повторяет:

– Ку-шать...

– Шапка?

– Ша-апка...

Пока я был на дежурстве, бабушка научила Иванушку хлопать в ладоши. То есть он сам – научился. В очередной раз она стала подкидывать его на руках, припевая:

– А ладушки-ладушки!.. Ладушки-оладушки!..

А Иванушка взял да и захлопал в ладоши.

Вечером – сдавал бутылки, промёрз до костей...

Миша прислал поздравительную открытку с Рождеством Христовым (в конверте): «Володя, друг мой, поздравляю с наступающим Праздником! И Оле поклон, и Лизаньку с Ванечкой поцелуй за меня. У нас скрипучие морозы и ясный месяц; дымы над крышами качаются, как цапли; всё прорывает где-то какие-то трубы, и на улицах во все стороны – ледяные языки. Храм, видимый из окна, окружённый великолепными хрустальными деревьями, весь в сияющем тумане. Особенно прекрасен он, когда косматое солнце встаёт над холмом и обдаёт город неземным нежным светом, тем драгоценным пурпуром, что молодит и облагораживает даже самое пустяковое и незначашее. Друг мой, милый друг мой... Храни вас всех Господь. Ждём в гости. Помню: обещался».

05.01.85, суббота перед Рождеством Христовым

Вчера я дежурил, а нынче утром, сдав дежурство, отстоял обедню и причастился – с Лизанькою вместе (Олечка очень удачно подвезла её к концу службы). Народу было – пропасть. Одних причащающихся было, наверное, более сотни человек (хотя – как там сосчитаешь).

А в половине 2-го я на вокзале встречал батюшку; о. Иоанн очень доволен своим визитом к московским «овцам», говорит, что привёз «новые идеи, которые надо обсудить». Танечка и Новиковы прислали нам с батюшкою разные подарки и лакомства. У нас хоть и ветрено, но тепло – днём где-то около 8 градусов, а в Москве -20°.

Танечка пишет: «Мы встречали новый год с батюшкою, тихо беседуя. Володя спел ему свои новые песни. Но наша спокойная жизнь нарушилась с приездом мамы. Хотя видно: за этот год мама немного успокоилась, уже не так остро переживает наше воцерковление. Я же мучаюсь бессилием объяснить ей хотя бы немного себя. Вот, год не виделись с нею, так хочется её приласкать, успокоить, но ничего не получается – смотрит недоверчиво. Ну, в чём можно нас подозревать? Ходим в церковь – вот и всё... Не знаю, как мы будем встречать Рождество Спасителя...»

09.01.85.

Идём с Лизанькою на молочную кухню – за питанием для Иванушки. Мимо нас проходят мама с девочкой, такого же, примерно, возраста. Лизанька провожает их взглядом:

– А у этой девочки есть братец?

– Не знаю. Может быть, и есть.

– А у меня есть братец Иванухка!

– Правильно, Лизанька.

– Нас теперь у вас гвое!

– Да. А раньше была только ты одна.

– И я не была сеск'ица...

– Да, была просто маленькая девочка Лизанька.

Заторопилась. Задирая головку, заглядывая мне в лицо:

– Была девочка Лизанька, а кипей (теперь) сеск'ица. Кага у меня не было брата Иванухки, я была просто девочка, а появился братец Иванухка, я стала сеск'ица...

И засмеялась удивлённо:

– Братец и сеск'ица!

Вигель о южной ссылке Пушкина в Мае 1820-го года: «Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедающих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен, надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как показали последствия. Дотоле никто за политические мнения не был преследуем, и Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал... Если хотели поразить ужасом вольнодумцев, за безделицу не пощадив любимца друзей русской литературы, то цель была достигнута. Куда девался либерализм! Он исчез, как будто ушёл в землю, всё умолкло. Но тогда-то именно и начал он делаться опасен...»

14.01.85, Обрезание Господне, вечером, в 10-ом часу (-19°)

Вчера мы с Лизанькою были в храме (она причастилась) и в библиотеке. Благодаря моей волшебной маленькой девочке, мне безо всяких проволочек перерегистрировали билет, и вообще тон служащих со мною делается всё домашнее. Меня это радует несказанно.

Иванушка уже совершенно свободно сидит без посторонней помощи и на лукавую просьбу: «Иванушка, покажи, как медвежонок головой качает?» – раскрывает свой беззубый ротик в простодушной улыбке («ощеряется» – шучу я, «осклабляется» – поправляет меня Олечка) и мотается из стороны в сторону всем тельцем, как цветочек на ветру.

Лизанька начинает читать... Уже несколько дней назад она прочитывала знакомые слова (которые умеет писать), находя их в тексте. А тут открыла книжку с птицами (для раскрашивания) и, побормотав немного про себя, прочитала:

– Зяб-лик... Скво-рец... Лас-точ-ка...

На «Синице» спуталась, устала.

В последние дни часто поёт: «Миленький отесинька! Славненький чудесинька!» Подбежит, прижмётся.

Попалась в руки старая карточка с записями: «Буратино-Клювоносик... „Мёртвый голубочек – а как он воскреснет?“ (Это мы с нею гуляли и увидели на дороге раздавленную птицу: „Как? – волнуюсь, спрашивала маленькая девочка. – Как он воскреснет? Он же... расплющенный?“)... Иванушка на престоле...» – не помню, по какому поводу.

Чугунов пишет: кажется, у Гали проблемы с беременностью... И обо мне: «Жалею душа моя, что не выбрал времени почитать твою переписку; не жури себя напрасно и не говори лишнего. Гоголев и тот заметил, что Данчук восстановит нам эпистолярный жанр. Меня же весьма интересует твой взгляд на искусство, но более всего чуткость к слову... Читаю Карамзина – он сделал меня патриотом, то есть не думай, что я до сей поры не имел любви к отечеству, но отныне она сделалась трепетной. Хомяков укрепил это чувство в моей душе... Ты отказываешь атеистам в уме; я отказываю им и в художественном восприятии. Вероятно, Миша путает ум с остроумием, иначе непонятны его возражения. У вас, по всему, всё ещё продолжается перепалка...

Отцу Иоанну и Анастасии Антоновне нижайший поклон от всего нашего семейства... Храни вас Господь».

За дежурство на новый год я получил 76 рублей, за Рождество 20 и плюс ещё 15 рублей за свечи, что продавал во дворе во время праздничной службы.

Я стал ленив и раздражителен. Снова курю...

23.01.85

Вечер; за окном -17° и разбойничий посвист ветра. Оля написала Новиковым:

«...Благодарим вас за всё: и за поздравления к Богоявлению, и за соковыжималку, и за ленточки для Лизаньки. Голубые мы завязывали в день праздника, а красные Лизанька решила побережь до Пасхи: „потому что Пасха ведь – красная“. Вот она и заплетёт тогда красные ленточки в свои косички. Да ещё благодарим за фотографии – рады были видеть вас хоть так – Бог знает, когда придётся свидеться воочию. Видно всё же, какие вы юные и счастливые. Да поможет вам Господь.

...Дорогие Саша и Ирина, коли вы так любезно предлагаете свои услуги, то я, пожалуй, попрошу вас кое о чём: если вам попадутся на глаза детские книжки, то купите, пожалуйста, и на долю Лизаньки и Иванушки. Разумеется, из современных авторов никого не надо, из начала века – тоже. Предпочтителен „век минувший“ – Державин, Жуковский, Пушкин, Аксаков – ну,

и так далее, в таком, примерно, духе. Много выходит детских книжек с рассказами Л. Толстого. Они тоже, по-моему, не совсем хороши, но часто бывают с хорошими картинками – сценками из „той жизни” – вот из-за них мы покупаем иногда и не очень нравящуюся нам по содержанию книжку. Я потом сама рассказываю Лизаньке про эти картинки. И при случае купите Лизаньке цветные карандашники; свои она все растеряла или раздарила.

... Саша, ты просишь написать, как мы готовимся ко святому Причащению. Всякое со мною случается – иногда успеваю прочесть каноны и акафисты, что делаю обычно в течение недели, а порою успеваю прочитать одно лишь „Последование ко святому Причащению”. Всегда причащаюсь недостойно: „суд себе ям и пию”. Главное, надо простить всех и почувствовать совершеннейшее своё ничтожество перед св. Чашей. Эти мысли и чувства внушают нам и предпричастные молитвы.

Да поможет вам Господь. О.»

Переписываю письмо – Лизанька стоит рядом, рисует на свободном уголке стола и вполголоса рассказывает сама себе:

– А эка лиса... Вок у неё ушки пог хляпой (ушки под шляпой)... Палько (пальто)... А на палько – бантики... Эко вместо пуговиц... Старинное покамухко палько...

Поднимает головку и, отступив на шаг, говорит уже мне:

– Тага носили такие палько... На бантиках...

Я смеюсь:

– Правильно, Лизанька!

У Вигеля нашёл подробности об образовании особого корпуса жандармов в России. Само слово означает просто «военные люди»; у нас они явились как бы военизированной полицией, обязанной обнаруживать государственные преступления и вообще, как «внутренняя стража», обеспечивать общественную безопасность. Вигель, часть 7-я:

«Особая канцелярия по секретной части со времён Балашова /то есть в 1810–1816 гг./ существовала сперва при министерстве полиции, а при уничтожении его / в 1819 г./ при министерстве внутренних дел. Действия ея были незаметны, особенно после взятия Парижа. Все говорили смело, всякий что хотел... Жандармы обязаны были открывать всякие дурные умыслы против правительства, и если где станут проявляться вредные политические идеи, препятствовать их распространению. Кроме того, всякий штаб-офицер сего корпуса должен был в губернии, где находился, наблюдать за справедливым решением дел в судах, указывать губернаторам на всякие вообще беспорядки, на лихоимство гражданских чиновников, на жестокое обращение помещиков, и доносить о том начальству...»

Наша словесность, надо сказать, так и не воздала должного этим «винтикам государственного механизма». И в общественном мнении они с самого начала и до печального конца «всего» были и остались «кастой неприкасаемых». Не высказываемое вслух презрение, смешанное с невольным страхом перед (воображаемым) таинственным могуществом этого учреждения, было основой отношения к этим особым людям. Даже я должен почти «в голос» подавлять в себе автоматизм такого отношения, громко заявленного только после революции и ставшего аксиомой интеллигентности. К «попам», к «царю и помещикам», даже к «полицейским» преодоление пропагандистских штампов прошло легче, а в первых случаях и вовсе безболезненно и незаметно.

27.01.85

Пару дней назад был сильный снегопад; я как раз дежурил и до утра разгребал дорожки к храму и вокруг; к утру сильно потеплело, и вот уже третий день у нас плюсовая температура (+3°).

На работе – неприятности... Староста «под сурдинку» организывает письмо владыке о бесчинстве бригадира церковных сторожей... Вызывает по одному к себе в кабинет и предлагает подписать. Не понимаю, почему он не может его уволить своею властью. Я был просто ошарашен, услышав такое предложение. Староста наш мне очень нравится: мало того, что он просто представительный мужчина – прямо православный богатырь (немного постаревший), он ещё и церковный патриот, и сидел «за веру», и мне иногда просто «помогает». Так неловко было отказываться... Особенно, когда староста заговорщицким тоном сказал: «Он ведь и к тебе с самого начала привязывался, я знаю...» Я сказал, что лучше обсудить поведение бригадира в товарищеском или, лучше сказать, в братском кругу и в лицо ему высказать все претензии (которые и у меня есть).

А Михаила Васильевича мне жаль... Он с первого дня взял меня в напарники, чтобы самому держать меня на контроле и показать мне, «сколь не сладка служба». Но тех «православных строгостей» не выдержал первым, и я покрывал все его безобразия, часто в ночные смены дежуря за него. Он давно ко мне переменялся – «оценил». Кто ещё будет с таким интересом выслушивать его бесконечные рассказы о военной юности? Которая, кстати, у него необыкновенна.

Лизанька научилась произносить звук «ш», но, подменяя свои прежние «х», иногда пересаливает и говорит невозмутимо «поешали» вместо «поехали». Ведёт такие складные речи, что не наслушаюсь. Беседуем обычно в походе на молочную кухню – когда идём без санок. И за разговорами она обычно забывает пожаловаться «я устала» и попроситься «на ручки». Звук «ж» выговаривает не всегда, но зато так сочно, что жужжание затмевает собою всё слово. Пару дней назад, проснувшись и расшальясь, вдруг выговорила давно заколдованный звук «т» («д»):

– Мама, гай вогы! Мама, попить!.. Мама, вогы! вогы!.. ды... ды... Воды! дай воды!

Мы сбежались:

– Лизанька, повтори!.. Скажи «тень»!

И она, играясь, чётко произносила слово за словом. Но через полчаса всё вернулось «на круги своя».

На прогулке любит беседовать с «медведем». Просит:

– Спроси меня чиво-нибудь!

– Лизанька, – говорю я медвежьим голосом, – маленькая девочка! Скажи мне, что это такое?

Она ударяет прутиком по решётке ограды и говорит с удовольствием:

– Эко детский сад!

– А вон то большое здание?

– Эко школа.

– А что там делают?

– Кам учатся.

– Кто?

– Дети.

– Какие дети? Большие или маленькие?

– Ну, побольше...

– А ты куда ходишь?

– Я нигде не хожу, я – гома...

– А почему?

– Пакамухко у меня маминька домахняя...

Разговор у нас бесконечный. Затрудняясь с ответом, она беспечно пожимает плечами: «Не знаю». Тогда я подсказываю (как «реплика в сторону»):

– Спроси у отесиньки.

– Спроси у отесиньки, – с готовностью повторяет маленькая девочка, как бы обращаясь к медведю, которого я же играю – и я каждый раз удивляюсь, как всерьёз и как спокойно она принимает моё раздвоение на две роли.

– ... А ещё на чём можно кататься?

– На лошадке.

– Прямо на лошадке?

– Не-е... – смеётся. – На келеге (телеге).

И спохватывается:

– Если есть сегло (седло), мошно прик'епить и – поскакать!

– А кто быстрее?

– Машинка быск'ее.

– Почему?

– Пакамухко у неё еськ мокор (мотор), а у нас неку.

– А по небу тоже можно ездить?

Смеётся:

– По небу лекаюк (летают)!

– Да? – поражается медведь. – А как летают? На чём?

– На верколёках, на самолёках...

– Как же они летают?

– Ну, – она растопыривает ручки, – самолёк на крыльяхках. По земле на коёсиках разбыхтыся и – полетел! А у верколёка неку крыльыхэк, он на мокоре лекаек (летает)...

– А нам можно полететь?

– Конехно, мошно. Если нам нага, ко они спустятся и возьмут нас...

Иванушка уже сидит уверенно, как грибок (хотя мы всё равно обкладываем его подушками – он разбрасывает игрушки, а потом тянется за ними и неизбежно кувыркается). По дивану он катается колобком, только сопит. Говорит уже: «Т-тя!»

Были у нас в гостях о. Иоанн и Анастасия Антоновна (матушка была очаровательна – в необыкновенно элегантном платье).

30.01.85, утром, в 6-м часу

Меня подняла Олечка – сонным голосом, не открывая глаз:

– Володюшка, посмотри: что-то Иванушка ворочается... Обмочился, наверное... Встань, пожалуйста, ты вчера рано уснул...

Верно. Вчера, вопреки своему обыкновению, я уснул, укладывая Лизаньку, вместе с маленькой девочкой. И Оля достирывала за меня Ивашины ползунки.

Купили вчера кресло-кровать для Лизаньки и стол на кухню (170 рублей).

Миша прислал перевод на 30 рублей – приглашает в гости («А это вам на билеты!»).

Олечка две недели писала письмо в ответ на Танино, которое мы получили ещё перед Крещеньем. Танечка писала:

«...Давно я хотела побеседовать с вами, но пока у нас гостила моя мама, никак не получалось. Вчера мы проводили её и, слава Богу, спокойно. Но всё время было очень напряжённое. И так жаль её.

На Рождество наш Володя был на службе ночью, а Леночка причастилась за поздней. Мы вспоминали Рождество 79-го года, когда вы были у нас... Как давно это было!.. А сегодня у нас был Володя Гоголев, он в отпуске. Расспрашивал о вас; мы передали ему ваш гостинец...

Леночка в последнее время стала непослушной, плохо засыпает вечером и днём. У Володи один художник спросил: зачем спасаться? И попросил отвечать не сразу, подумать. Как бы ответили вы? Помогите. Мы ответили, как могли, но он считает наш ответ неполным.

Вот, немножечко побеседовала с вами, а на душе сладкая тоска о вас, милых и родных.

Кланяйтесь от нас с благодарностью о. Иоанну и Анастасии Антоновне. Вас же нежно целуем и любим...»

Щукин ушёл из дворников и работает в библиотеке консерватории.

Оля: «...Известие о Леночкином непослушании очень нас огорчило. Как же ты, милая Леночка, не исполняешь главного своего долга? Ты этим огорчаешь не только маменьку, но и Самого Господа, потому что Бог любит смиренных и кротких.

Танечка, не пробовала ли ты давать Леночке медовую воду перед сном? Говорят, это действует успокаивающе.

...У нас были в гостях батюшка с матушкой и передали нам 30 рублей, чтобы мы отослали, Танечка, тебе – наверное, ко дню твоего Ангела. Напишите, получили ли вы сию сумму.

Милая Танечка, на вопрос вашего художника я тоже затрудняюсь ответить. Во всяком случае, он кажется мне праздно любопытствующим и только. А разве такому взгляду открываются тайны? Спасаться надо затем, чтобы жить. Вне спасения нет жизни, а одна иллюзия её. Плодотворно было бы спросить: „Как спасаться?“ И отнести сей вопрос к духоносному мужу, преуспевающему в деле спасения. А так это вопрос какого-то буддиста, который верует в бездну, и бездна эта стирает в его душе и реальность Божьего мира, и реальность личности.

...Как жаль, милая Танечка, что мы живём так далеко друг от друга!

У нас всё по-прежнему. Иванушка всё такой же весёлый мальчик. Уже самостоятельно сидит, играет в „ладушки“ и показывает, „как медведь головой качает“. Лизанька выучилась говорить звук „ш“ и иногда даже перебарщивает с ним.

Что вы думаете о лете? Мы в растерянности и не знаем, на что решиться. И работа нынешняя Володе нравится, и Иванушка ещё очень мал... А с другой стороны, воспоминания о „том“ лете тревожат сердце. Не знаем, как и быть...»

Вечером: Иванушка уже спит. Лиза с маминькой готовятся...

– Маминька, а почему, когда отесинька помолится, и ты молишься?

– А как же? Отесиньке надо спасти свою душу, и мне – мою.

– И Господь, – спешит Лизанька, – и Господь!.. Он помогает нам спасаться!

– Конечно, – говорит маминька. – А теперь давай-ка спать!

– Кухать хочу!

– Ну, вот! Что это, Лиза? Каждый вечер одно и тоже: как в постель, так «кушать хочу».

Нельзя!

Они пререкаются, пока я пишу, и уходят на кухню. Я упустил минуту и теперь не хочу поднимать шума, но – ведь было же сказано «нельзя»!.. Ох, уж эта маминька!

01.02.85

Месяц Генварь у меня закончился Бальзаком: четыре романа я, между делом, проглотил в два дня. Давно у меня не было такого лёгкого и безалаберного чтения – даже невероятность страстей доставляла мне странное удовольствие. Неужели и это – катарсис?

И всё-таки: дочитан очередной том Самарина по подготовке «крестьянского дела». Такой яркой и картинной обрисовки ситуации мне доселе не попадалось:

«Рассуждая об отношении крестьян к земле, у нас очень часто ссылаются на историю; только, к сожалению, приводимые справки обыкновенно не восходят выше времён, непосред-

ственно предшествовавших укреплению крестьян. Из этих справок образовалась следующее, едва ли не господствующее убеждение: вся земля принадлежала изстари, на праве вотчинном или поместном, великим князьям, церкви и частным лицам служилого сословия; крестьяне же не имели на неё никакого предустановленного права; они только нанимали её. Землевладельцы не обязывались никаким законом держать против воли крестьян на своей земле; а крестьяне, будучи лично свободны, могли, когда хотели, сходить с земли и переселяться на новые места.

Действительно, так – или почти так – было на Руси, начиная с XVI века до укрепления крестьян; но это было переходное состояние, время тяжёлого экономического кризиса, вызванного быстрым развитием государства и громадных его потребностей.

Народонаселение в России было издревле земледельческое, следовательно, оседлое. Кто жил на земле, кто пахал её, тот ею и владел бесспорно, не в силу отвлечённого права, а на самом деле, *de facto*. Мы говорим: бесспорно; ибо всякий спор, возникающий из столкновения двух взаимоисключающихся притязаний на один предмет, предполагает ограниченность предмета /или единственность его/ и несовместность предъявленных на него требований; а пусто-порожней, никем не занятой земли в те времена было столько, нарушение было так редко, что всякому легко было найти себе место, никого не тревожа. Мы говорим: *de facto* – в противоположность отвлечённому праву собственности, ибо на вопрос: кому земля принадлежала? – древняя Русь не давала ответа. Этот вопрос для неё не существовал. В то время землёю пользовались, как пользуется искони всё человечество воздухом, светом и другими благами, по существу своему не подлежащими ничьему усвоению.

Из этого первобытного состояния постепенно начала выходить Россия, когда потомки призванных князей с их дружинами окончательно в ней водворились. Из безразличной массы населённых земель, мало-помалу, стала выделяться собственность княжеская, церковная и частная. Это новое отношение к земле не нарушало прежнего, фактического к ней отношения оседлых земледельцев. Право собственности не сталкивалось с бесспорным владением, ибо первое, так сказать, воздвигалось над вторым; оно более и более выяснялось в своих применениях, в формах дарения, обмена, отдачи в поместное владение и распространялось в ширину...

При этом, однако ж, ещё долго удерживались в разных местах остатки прежнего владения, признанного верховною властью под названием чёрных волостей, т. е. таких земель, которые не составляли ничьей личной собственности и которыми, по старине, владели водворённые на них жители.

Отношения вотчинников и помещиков к поселянам, которых они застали на земле, были весьма немногосложны: они ограничивались сборами разного рода и, обыкновенно, судом и расправою. Личная, весьма слабая зависимость поселян от вотчинников и помещиков истекала из зависимости поселян, как подданных, от представителей верховной власти и органов её – служилых людей. Как лично-свободные, крестьяне могли переходить с места на место; этого права у них никто не оспаривал; но мы не видим частых переходов, потому что не было поводов, не было крайней для них нужды покидать земли, которых никто у них не отнимал и в пользовании которыми никто их не тревожил.

Между тем усвоение земель подвигалось быстро, и поместная система развивалась в широких размерах. Иначе и быть не могло в те времена, когда раздача земель, заменяя денежное жалование, представляла почти единственный способ вознаграждения за государственную и частную службу. Все потребности быстро возраставшего государства удовлетворялись с земли... По мере возвышения требований правительства изыскивались и изошрялись средства к извлечению из земли возможно большей прибыли. Таковых средств, при тогдашних обстоятельствах, было два: умножение народонаселения привлечением крестьян и возвышение их повинностей. Правда, что одно другому противоречило, ибо крестьяне приманивались обещанием льгот, а увеличение требований пугало их и подавало повод к опустению дворов; но оба средства совпадали друг с другом в конечных своих последствиях, и действие их на быт

простого народа было одинаково. Они постепенно ослабляли прежнюю историческую связь земледельца с землёю, приучали его к бродячей жизни и подрывали оседлость... Таким образом частые переходы с места на место вошли в обычай и получили законную форму» (Юрьев день! – ну, а дальше – понятно).

08.02.85.

У Иванушки прорезался зубик! То-то он так плохо в последние ночи спал (как-то мы по очереди укачивали его более трёх часов). У Лизы зубки появились лишь на 11-ом месяце.

А Лизаньке мы всё книжки покупаем, у неё уже своя библиотечка (сегодня купил стихотворения Пушкина, Толстого А., «Кавказского пленника» Л. Толстого и «Героя нашего времени»). Наиболее излюбленное чтение сейчас для неё – «Три медведя» А. Толстого, читали уже раз десять. Какая она милая и нежная девочка! Говорит:

– А Иванушка лучше всех!

– Это почему?

– Потому что он маленький.

Я как-то скаламбурил, а теперь Лизанька повторяет:

– Почему говорят «кухня»? От слова «кухать»!

Хотя сама всё чаще выговаривает «ш».

Записываю «Лествицу»... Мы читали её несколько лет назад, но тогда у нас шли горячие споры об аскетике, и игумен горы Синайской являлся нам, скорее, «камнем преткновения» и «яблоком раздора». Теперь всё иначе. Правда, Олечка, как и тогда, проливает над книгой сладкие слёзы – то восторга, то умиления, то обличение «оружием проходит её сердце» – но теперь у нас равные вдохновения... Я порою не верю глазам своим: ведь это VI век! Преподобный Иоанн Лествичник:

«...от новоначальных послушников Бог не ищет молитвы без парения. Поэтому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй и непрестанно воззывай ум ко вниманию; ибо никогда не быть расхищаему мыслями свойственно одному Ангелу...

Иное есть смирение кающихся, исполненное сетования; иное зазрение совести ещё согрешающих; и иное – блаженное и богатое – смирение которое особым Божиим действием вселяется в совершенных... Признак же второго состоит в совершенном терпении бесчестий...

Начало блаженного незлобия – сносить бесчестия, хотя с огорчением и болезнью души. Срединка – пребывать в оных беспечно. Конец же оно, если только оно имеет конец, – принимать поношения, как похвалы. Да радуется первый; да возмывает второй; блажен о Господе и да ликует третий.

...Если бы ты увидел кого-нибудь согрешающего даже при самом исходе души из тела, то и тогда не осуждай его; ибо суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, но большие добродетели совершали втайне; и те, которые любили осмеивать их, обманулись, гонясь за дымом и не видя солнца.

...Послушайте меня, послушайте, злые судии чужих деяний: если истинно то, как в самом деле истинно, что имже судом судите, судят вам (Мф. 7,6) – то, конечно, за какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадём сами; иначе и не бывает.

...С новоначальными телесные падения случаются обыкновенно от наслаждения снедами; со средними оне бывают от высокоумия и от той же причины, как и с новоначальными; но с приближающимися к совершенству оне случаются только от осуждения ближних.

...Есть в нас некая смерть и погибель падения, которую мы всегда с собою и в себе носим, а наиболее в юности. Но погибель сию я не дерзнул предать писанию, потому что руку мою удержал сказавший: бываемая отай от некоторых срамно есть и глаголати, и писати, и слышати.

...Склонные к сладострастию часто бывают сострадательны и милостивы, скоры на слёзы и ласковы; но пекущиеся о чистоте не бывают таковы.

...Бесчувственный есть безумный мудрец... беседует о врачевании язвы, а между тем беспрестанно чешет и растревляет её; жалуется на болезнь и не отстанет от вредных для него снедей; молится о своём избавлении от страсти и тотчас исполняет её на самом деле... О смерти любомудрствует, а живёт как бессмертный... Читает слово против тщеславия и самым чтением тщеславится... Хвалит молитву и бегаёт от неё, как от бича...

...Иное дело – сокрушение сердца; другое дело – самопознание; а ещё иное – смирение.

Сокрушение происходит от грехопадения. Падающий сокрушается и, хотя бездерзновен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на молитве, как разбитый, на жезл надежды опираясь и отгоняя пса отчаяния...

Рассуждение в новоначальных есть истинное познание своего устройства душевного; в средних оно есть умное чувство, которое непогрешительно различает истинно доброе от естественного и от того, что противно доброму; в совершенных же рассуждение есть находящийся в них духовный разум, дарованный Божественным просвещением...»

Его «Слово о целомудрии» похоже на поэму – здесь, кажется, даже переводчик забыл о своём важном косноязычии. Вот, о своей смертной плоти поёт древний инок:

«Она и друг мой, она и враг мой; она помощница моя, она же и соперница моя; моя заступница и предательница. Когда я угождаю ей, она вооружается против меня. Изнуряю ли её, изнемогает / лучше: изнемогаю сам/. Упокоиваю ли её, бесчинствует. Обременяю ли, не терпит. Если я опечалю её, то сам буду крайне бедствовать. Если поражу её, то не с кем будет приобретать добродетели. И отвращаюсь от неё, и объемию её. Какое это во мне таинство?... Как я сам себе и враг, и друг? Скажи мне, супруга моя – естество моё...»

Оля записала:

- Маминька, а зачем Господь посылает болезни?
 - Для очищения.
 - А если человек чист?
- (Скорее всего, Лизанька сказала «чиск» или «чиский»).
- Из всех людей одну только Богородицу зовут Чистой...

11.02.85

Ходили с Лизанькою на детскую кухню – морозно (-18°) и солнечно, с ветерком. Лиза дня три сидела дома, отвыкла от зимы и морщилась, чуть не плача:

– Отесинька, на меня ветер гует! Прямо на щёчки!

Я занимал её разговорами, отвлекая. Она прислушивалась, личико разглаживалось, хотя кудрявая прядь по-прежнему взлетала над чистым лобиком. И разошлась, раздумянулась. Попыталась прокатиться на валенках по дорожке – упала. Встав, сказала:

– А помнишь, перег зимой льду было!..

Всё меня поразило в этой фразе: интонационное построение смысла, и ясное и чёткое «льду».

Зашли в книжный магазин:

– А што написано на большой карточке?

На пластмассовой табличке официальная надпись «Закрето».

– Такими большими буквами, а?

– Давай вместе прочитаем?

– Давай!

– Какая первая буква?

– «З»...

– А вторая?

– «а»...

И не дожидаясь вопроса:

– «За...»

Я подсказал ей только две буквы: «р» – перед которой она всегда останавливается в смущении, ибо плохо её произносит, и «ы». Две последние буквы она прочитала, не возвращаясь к началу слова – торопясь, сложила в слог и закончила:

– За-кры-то... А на другой стороне, наверное, написано «от-кры-то»?

Сообразила! Я расхохотался на весь магазин. На нас заозирались.

По дороге домой пыталась снова прокатиться на валеночках. Не всегда получалось:

– Потому что снег, – сказала с сожалением. – А у меня всё равно коньки!

Эту тему я знаю чуть ли не наизусть.

– Где же они? Что-то я их не вижу.

– А их не видно! Они же волшебные.

– Волшебные? – удивляюсь я. – Откуда у тебя волшебные коньки?

– Мне великан подарил, – со значением на слове «великан» отвечает Лизанька и покачивает головой.

– Великан? – продолжаю удивляться я. – А где ты его нашла?

– В пещере, – важно отвечает она и тут же оживляется. – Помнишь, я в пещеру лазила?

Мальчики вырыли снежную пещеру, а я лазила.

– Помню. Но разве там был великан?

– Там был великан! Это его пещера. Он там живёт.

– А он большой?

– Большо-о-ой, – тянет она.

– Больше меня?

– Больше, – с убеждением говорит Лизанька и смотрит на меня, как бы примеривая. –

Он – как девочка Сена. Они же чуть не до Луны!

– Как же он поместился в такой маленькой пещере?

– Она же длинная... – начинает объяснять она, но такое объяснение не устраивает и её.

Вскрикивает:

– А там комната была!

– Что? – не понимаю я.

– Комната там была. Больша-ая!

– Ну, и что ты делала в гостях у великана?

– Ничего, – пожимает она плечами. – Погостила и ушла.

До дома ещё далеко, и такой короткий сюжет меня не устраивает.

– Но ты же поздоровалась с ним?

В последние дни учу её здороваться. Привычки у неё ещё нет, поэтому она растерянно говорит:

– Да...

Но тут же оживает, с лукавым выражением пригибается, как бы входя в пещеру, и, ступая на цыпочках, говорит театрально:

– Здравствуй, великан!

– А он?

– Здравствуй, Лизанька! – изображает она великана (почему-то тонким голоском).

– А потом?

– А потом пошли на кухню и пили чай.

Что и говорить, жизненное наблюдение, вплоть до «пошли на кухню».

- А как он дал тебе волшебные коньки?
- Я попросила... – и, углубляясь в своё воображение, говорит с туманной полуулыбкой. – У него там большая комната... и у стены стоит большой ящик... Там много-много разных... Я жду слова «вещей», но она неожиданно заканчивает:
- ...Приступочек!
- И сама смеётся. Слово «уступ» она услышала от меня минут 10 назад и вот – воспользовалась. Но я понимаю, о чём идёт речь.
- Там были и коньки?
- Да, там были коньки... Я попросила... – и тут она начинает говорить жалобным голосом. – Великан, великан! дай мне, пожазу... пожазу... по-жа-луй-ста, коньки!.. Он выписал и дал мне.
- «Выписываем» мы детское питание – каждый месяц в поликлинике.
- Но зачем ему свои коньки выписывать? – смеюсь я.
- Потому что никак не вынешь, если не выпишешь, – это туманное объяснение она, тем не менее, произносит поучающим тоном.
- Щедрый великан, – говорю я с признательностью. – Не сходить ли нам к нему в гости?
- Нельзя, – с сожалением отвечает она. – Его увезли. Пещеру увезли. Взяли, – она размахивает ручками, – большую лопату и раз-раз! погрузили на машину. А великан – топ, топ! – забрался в кузов... Сел около пещеры и поехал! поехал!
- Жаль... Далеко он поехал?
- Не знаю, – она пожимает было плечиком, но тут же вспоминает и снова поднимает ко мне румяное, весёлое личико, возбуждённое морозцем, быстрой ходьбой и интересным разговором. – В Сузгаль! Конечно, в Сузгаль!
- И добавляет, словно это очевиднейшее дело:
- Куда же ему ехать, как не в Сузгаль! Это же далеко-далеко, почти на конце улицы!
- Далеко, – соглашаюсь я. – Что ж, он теперь и жить там будет?
- Он там теперь всегда жить будет, – вздыхает Лизанька.
- А летом? – спрашиваю я, рассчитывая огорошить её известием, что пещера растает.
- И летом... Потому что там снег никогда не тает.
- Хм. Вот так Суздаль. А травка там растёт?
- Да.
- А лето?
- Лета не бывает.
- Э, не складно! Раз лета не бывает, то и травки не бывает.
- Нет, бывает... – задумывается она, но придумать не может. – Бывает...
- Мы уже пришли, и я говорю:
- Странный город это – Суздаль!
- Странный, – соглашается она и веселеет. – Это очень странный город!

13.02.85, собор Трёх святителей

После очередного тома Людвиг Тика и прозы Жуковского я добрался, наконец, до Житий святых. Месяц «Август», любопытное примечание:

«Становясь на строго определённую историческую позицию, должно заметить, что 1-го Августа православной Церковью совершаются два торжества, различные по своему происхождению: 1) происхождение Честного и Животворящего Креста Господня и 2) празднество Всемиловитому Спасу и Пресвятой Богородице... по причине болезней, весьма часто бывавших в Августе /Азия-с!/, издревле утвердился в Константинополе обычай износить честное древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в предотвращение болезней /т. е. «происхож-

дение» означает просто «прохождение по улицам»/. Накануне, 31-го Июля, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе великой церкви (т. е. св. Софии). С настоящего дня и далее до Успения Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение честного Креста...

Этот обычай, в соединении с другим обычаем Константинополя – освящать в придворной церкви воду первого числа каждого месяца /в Генваре – 6-го, в Сентябре – 14-го/, и послужил основанием праздника в честь святого и животворящего Креста и торжественного освящения воды на источниках, которое совершается 1-го Августа /в России служба Кресту появляется в XIV–XV вв. с введением Иерусалимского Устава/...

Празднество Всемиловитому Спасу и Пресвятой Богородице установлено в Греции и России около 1168 года в память знамений от честных икон Спасителя и Богоматери во время сражений греческого царя Мануила (1143–1180) с сарацинами и князя Русского Андрея Боголюбского с болгарам в 1164 году».

Я выписал ещё несколько примечаний исторического характера: о причине Маккавейских войн, об Эфесе, о первых лаврах («ряд келлий, окружённых оградой»), о книгах «Лимонарь» и «Синаксарь» (синаксис – собрание) – и целый эпизод из жития преп. Пимена Великого («... говорю вам, что если вы увидите что и очами своими, не давайте тому веры», т. е. не так легко верьте греху ближнего).

Вчера перед сном говорю ей:

– Может, песенку споём?

– Давай споём, – и смотрит на меня с любопытством.

– Какую ты хочешь?

– Крестного песенку... какую я не знаю...

– Да таких песен и я не знаю!

Мы поём «Пела, пела пташечка...» и «На заре туманной юности». К моему удивлению, она довольно точно помнит стихи, только в некоторых местах гудит.

– Ага, не знаешь!

– Знаю!

– А почему гудишь?

Она смеётся тоже, чуть запрокидывая головку, и снова удивляет меня:

– Гужу!

Получили письма: от Щукиных – Танечка пишет, что к ним приезжал Чугунов, была радостная встреча («с какой любовью встретились!»), подарил им два дня – «столько полезных бесед»; приезжал к ним и о. Константин с Алтая – «какой он свободный художник в душе!» (в самом деле, познакомившись поближе с церковной жизнью, я с удивлением обнаружил, что священники – в общем-то, изгой в обществе – как раз и пользуются наибольшей свободой, хотя живут под ферулою двух дисциплин).

От Чугунова: я прихожу в изумление от того списка книг, которые он успевает проглатывать от письма к письму: К. Аксаков, И. Киреевский, С. Шевырёв, Розанов, Нилус, Карамзин... Купил нам «Критику» Страхова, умница. Я уже ответил ему:

«... Вот наши новости: у Иванушки прорезались зубки, у Лизаньки исправляется речь, она уже не путает „х” и „ш”, временами выговаривает и другие „трудные буквы”, но – мне жаль её милого лепета...

Что ж ты не пишешь, как у вас с деньгами? Я спрашивал, мне надо знать, ибо я должник твой и не должен испытывать прочность братского великодушия. Знаю, люди предпочитают умалчивать о своих «сокровищах», почему-то денежные дела считаются наиболее щекотливыми (проще говоря, языческая тень магической боязни), но я обычно на проявленный интерес отвечаю прямо, «сколько я стою». Вспомни: когда во время голода пророк Илия пришёл

к вдовице и попросил покормить его, она ответила: «Жив Господь! Разве есть у меня где хлеб в потаённом месте? У меня нет ничего, кроме горсти муки и небольшого количества масла в сосуде». Святой Иоанн Златоуст пишет по этому поводу: «Замечательно уже то, что несмотря на такую скудость, она не утаила бывшего у неё небольшого остатка пищи...» В такой доверии есть замечательная сторона: не утаивая имущества, человек как бы отказывается от него, как бы признаёт права других на его имущество – право общего пользования тем, что ему принадлежит, чем он владеет, как Божиим даром.

Жив Господь! скажи же мне, могу ли я ещё надеяться, что долг мой необременителен для вас?..»

17.02.85, неделя мясопустная

Стемнело, но мы идём кататься на горку. Довольная, бежит рядом:

– Как зимой весело, да?

– Отчего ж тебе весело?

– На санках можно кататься...

Речь у неё яркая, сочная; особенно те звуки, что лишь недавно стали выговариваться.

Сажусь на санки, Лиза вскарабкивается мне на колени, и мы летим вниз. Она хохочет от восторга, кричит:

– Понеслись!

Взбираемся обратно. Я тащу санки, она бежит впереди, смешно петляя ножками. Обращивается, замёрзшие губки улыбаются:

– Давай ещё дальше проедем! Вон туда!..

Машет варежкой:

– Вон до того дома!

Я киваю:

– Попробуем.

– И прямо в дом! Как стукнемся! И сломаем дом!

– Ломать нельзя.

– Почему?

– Там люди живут.

– А как же? Как же мы стукнемся?

– Стукнемся и отскочим. Как мячики.

Хохотнув согласно, она кивает и снова бежит вперёд. За дорогою, в неровной темноте неба, высится чудовищная чёрная громада недостроенного дома.

– А давай мы этот дом сломаем? Строители будут строить, а мы ломать!

Что за фантазии? Вот прицепилась: сломать и сломать! Пытаюсь вернуть её к реальности:

– Как же ты его сломаешь?

– А мы... – она останавливается, вдохновенно поднимает ручку, – а мы... А мы возьмём другой дом и положим сверху!

Что называется, выход! Я смеюсь.

– Давай?

Ну, что ты будешь делать?

– Давай!

– Ну? – она вдохновенно смотрит на меня блестящими глазками из-под меховой шапки, вся – ожидание и порыв. – Пойдём?

– Куда пойдём?

– За домом!.. Дом брать! А?

У меня был хлопотливый день: с Олечкою ездили к ранней обедне, к поздней я один повёз Лизаньку, после обеда – втроём ходили в погреб за картошкой и соленьями.

У Лизаньки появились коньки (Вадим подарил – странный парень! лет, наверное, за тридцать; говорит, что служил на границе, там как-то «получил по черепу» и с тех пор на пенсии; мать верующая – он и прибил к церкви; на все руки мастер, только вот запивает время от времени; матушка его – маленькая, сухонькая старушка – мне кажется необыкновенно красивой, как фея из сказки; сына обожает безмерно, видит в нём великие таланты).

25.02.85, Чистый понедельник

Лизанька заболела; был нынче врач, сказал: «ветрянка». Против пупочной грыжки велел делать массаж. Олечка сразу преисполнилась уважения к нему.

Иванушка уже самостоятельно стоит в кровати – и подолгу; потом коленки у него подгибаются, он оседает с жалобным криком и падает. Сегодня я дал ему пожевать рогалик – он съел едва ли не половину и ни разу не поперхнулся. Значит, будет теперь «ясти» хлеб.

Не курю. Мы с Олечкою нынче голодаем. И завтра.

До поста я успел прочитать на русском: Шевырёва – об античной поэзии, на немецком – два романа: Сенкевича «Qvo vadis?» и странную книгу о бароне Теодоре Нейхофе, побывавшим в роли короля Корсики. Правда, всего полгода – но неужели это не выдумка, а исторический факт? Настоящий авантюрист – в XVIII веке! Французский гвардеец, шведский офицер, испанский полковник, в Париже – приятель великого спекулянта Джона Лоу (я так и не понял, в чём порочность его системы – разве что в жадности?), наконец – король Корсики, политический беглец в Голландии и узник долговой тюрьмы в Англии. С удивлением узнал, что Корсика стала французской лишь в 1768 г. – за год до рождения Наполеона.

04.03.85

«Сказку о царе Салтане» Лизанька едва ли не всю знает наизусть; часто, играя, шепчет или бормочет вполголоса строки оттуда; часто просит почитать её.

А вот парами приставляет стулья к креслу:

– Это что у тебя такое, Лизанька?

– Автобус.

– А почему в нём никого нет?

– А потому, что я... я с авто... – спотыкается, но выговаривает, – с автостанции ещё не съехала... А ты знаешь, чем у меня автобус питается? Совсем не бензином!

– Чем же?

– Пищей! – смеётся.

Бегает с книжкой в руках и «читает» вслух что-то маловразумительное.

– Что ты читаешь, Лизанька?

– Это стихи. Хорошие!

– Ну, почитай.

– Потом...

И, отбегая, снова бормочет ритмическую абракадабру. Но вот прибежала с торжеством – глаза горят, волосики дыбом:

– Послушай, послушай, отесинька!.. Вот какое стихотворение... «Солнце и вечер» называется.

И декламирует, помахивая зажатой в руке книжечкой:

– Пост Великий наступил... И пришёл порою той... И Господь пришёл на землю...

Смешалась, добавила несколько «таинственных» слов и замолчала в ожидании.

– Хорошее стихотворение, – хвалю я.

– Вот!.. – удовлетворённо говорит она и, крутнувшись, убегает.

Но авторское самолюбие ещё не совсем удовлетворено. И вот она уже стоит перед кроватью, в которой сидит толстячок Иванушка, с тою же книжкой в руках и декламирует ему что-то длинное и непонятное, но по-прежнему ритмичное. Прислушиваясь, я разбираю: «... Наступила Пасха там...» Гляжу: Иванушка доверчиво смеётся, во все глаза таращась на сестрицу. Она напряжённо глядит, шевелит губками и вдруг, подобрав рифму, выпаливает:

– Он гуляет по волнам!

Оля трудилась вчера вечером: «Милая Танечка!.. Поздравляем вас с „весёлым временем” Великого поста. Володя вычитал в книге для священнослужителей, что так называют этот пост в молитвах. Мы по очереди ходили слушать чтение Великого покаянного канона св. Андрея Критского. В пятницу были на общей исповеди, а сегодня причащались. Когда чаще посещаешь Богослужение, то появляется такое ясное и твёрдое чувство живой Церкви Христовой. Жив Господь, и по-прежнему чиста сердцевина жизни православной, питаемая благодатными древними соками первохристианства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.